ВАСИЛИЙ РОСЛЯКОВ

ОДИН ИЗ НАС





ВАСИЛИЙ РОСЛЯКОВ

ОДИН ИЗ НАС

Повесть

«Современник»
Москва
1985

Р2
Р75

Росляков В. П.

Р75 Один из нас: Повесть.— М.: Современник, 1985.— 95 с.

В пер.: 35 коп.

Василий Росляков принадлежит к поколению писателей, творческое кредо которых формироаалось в окопах Великой Отечественной войны. Поэтому так обостреино чувствуют его герон непреходящую ценность человеческой жизни, так четко различают правду и ложь.
Повесть «Один из нас» — правдивая летопись мужества советских людей, их героизма, непоколебимой веры в победу над фашистскнмн захватчиками в тяжкие месяцы начала войны.

Р $\frac{4702010200-306}{М106(03)-85}$ КБ—32—17—85

ББК84Р7
Р2

1

До той минуты еще так далеко, что ее может и не быть вовсе. А пока над степями Ставрополья, над зыбкими, в мареве, перелесками вовсю жарит июльское солнце.

Поезд медленно ползет от полустанка к полустанку. Уже скрылся с глаз теплый и пыльный Прикумск — наш родной городок. Мы с Колей уезжаем далеко — в Москву, в институт. Чувствуем себя счастливыми, и нам обоим немножечко грустно. Впереди незнакомые города, которых мы никогда не видели, Москва, где каждые четверть часа бьют куранты и где бог знает чего и кого только нет.

Уже затерялись позади горбатые проулки, истоптанные нашими пятками; объерзанные школьные парты; желтая речка Кума... Наша вчерашняя жизнь. Ее все дальше и дальше относит большой неведомый мир. Сердце рвется ему навстречу и с непривычки ноет чуть-чуть.

В вагоне пусто и душно, пахнет нагретой олифой. Две старушки дремлют у своих кошелок и тощих узлов.

Не сидится. Мы шляемся из конца в конец вагона, заглядываем в пустые отсеки, подолгу стоим в тамбуре, принимая на себя встречный ветер. Головы наши горят, и в них происходит неведомо что. Коля начинает петь. Я стараюсь тихонько, на низах, вторить ему. Ветер сбивает у Коли на сторону каштановую челку, пузырит за спиной белую рубашку.

Из соседнего вагона выходит вислоусый проводник. Минуту стоит он возле нас, слушает песню, а затем просит очистить тамбур.

— Ну-ка, от греха подальше,— говорит он, пропуская нас впереди себя. В вагоне совсем уже другим голосом возвещает: — Плаксей-ка-а!

Поезд останавливается у кирпичного зданьица с млеющими над крышей акациями, с прохладной тенью на чисто подметенной и побрызганной земляной платформе. У железной ограды стоит бак с медной кружкой на гремучей

цепи. Со стены низко свисает почерневший колокол. В холодочке важно, как гусь, вышагивает дежурный милиционер в фуражке с красным околышем.

Жидкая толпа пассажиров расползается по вагонам, проплывает ни на что не похожий звон станционного колокола, и мы трогаемся.

Прощай, наш родной Прикумск! Вот он, кажется, рядом — и уже совсем, совсем далеко.

2

В конце концов ко всему привыкаешь.

Пересев на почтовый Минводы — Москва, первую ночь мы не смыкаем глаз, зато вторую уже посапываем на верхних полках. Но как бы там ни было, нас ни на минуту не покидает предчувствие, которое можно высказать только одним словом: Москва...

И вот заерзали в душном вагоне пассажиры, громче застучали колеса, замелькали высокие дощатые платформы, домики, дома, закоптелые фабричные здания, красные дымящие трубы.

Поезд замедлил ход. Сбоку возникла гулкая, многолюдная площадка перрона. Бурлит, волнуется перронный мир, переливаясь, одно другим заслоняя, и нет никакой возможности на чем-то остановиться или все охватить разом. Нам не терпится влиться в этот поток, затеряться в нем, но мы не можем оторваться от оконного стекла.

Наконец-то обеими ногами стоим на мягком асфальте. Шагах в десяти от нас, силясь приподняться над людским потоком, ищут кого-то ясные встревоженные глаза.

— Мама!

И опять встревоженные глаза ищут кого-то над плывущей толпой. Вот они встречаются с нашими, зачарованными, вспыхивают и гаснут смущенно.

— Москвичка,— говорю я Коле.

— Москва! — отвечает он.

Я молчу. Я всегда молчу, когда Коля начинает говорить со значением.

3

Утреннее солнце косо бьет в потолок. Странная тишина. Не стучат колеса, не покачивает вагонную полку. Переворачиваюсь на бок, и подо мною не полка, а койка. Она скрипит старенькими пружинами, и все становится ясным:

мы в студенческом общежитии, на шестом этаже великого города. Коля тоже проснулся. И словно сговорившись, мы пробираемся на балкон. Окраинные дали, деревянные домики, бараки, голые задворки. Дальше, возвышаясь над слободской бестолочью, тянется взгорье и над ним — небо. Справа из густой зелени выступают златоглавые купола и башни монастыря.

Окраина Москвы! А сама она, невидимая глазу, где-то внизу, с другой стороны.

Четыре дня назад мы лежали еще на нашем дворе, под акацией, и над нами жарко пылали южные звезды. Большая Медведица дремала прямо на крыше нашего домика. Всего лишь четыре дня назад мы были обыкновенными мальчишками в нашем обыкновенном маленьком городке. А сейчас, когда все сошлось вместе — и последняя прикумская ночь, и дорога почти через полстраны, и этот балкон на шестом этаже, мы чувствуем себя взрослыми и жизнь кажется нам раздвинутой до безграничности.

— Прикумские казаки! — Это выглядывает на балкон заспанный Толя Юдин. Долговязый и нескладный, он смотрит на нас исподлобья с мрачноватой улыбкой. Один глаз с чуть приметным бельмом.— Запоминайте,— говорит он.— Это — поселок. Лужники называется. За ним — Москва-река, вон то — Ленинские горы, а это — Новодевичий монастырь.

Кроме Толи в нашей комнате еще двое — Витя Ласточкин и Лева Дрозд. Первый — наш земляк со Ставропольщины, второй приехал из Тамбова. У обоих птичьи фамилии, но птичьего в них ничего нет. Витя — коренастый, маленький крепыш, нос пуговицей, на низком упрямом лбу — заметная бороздка. Она становится еще заметней, когда Витя думает. Лева — высокий, голенастый, с круглой кудрявой головой и сочными девичьими губами. Что касается их фамилий, то, как и у большинства человечества, они почти ничего не значили.

Все вместе мы идем умываться. Шумим, разбрызгиваем воду.

— Знаете, откуда это? — говорит Лева, подставляя ладони под кран.— Из Волги! — И, прижав палец к отверстию крана, пускает в нас тонкую струю.

— Ну вы! Ме-лю-зга!

Это говорит грузный детина с тяжелой лохматой головой и жирными обвислыми плечами. Раздетый до пояса, он стоит не замеченный нами и ждет очереди. Мы тут же усту-

паем ему место. Ои моется иеуклюже, как морж. Затем отступает от раковнны. С опущенной головы капает на пол вода. Ои дружелюбно, но внушительио говорит:

— Вы, хлопцы, не обнжайтесь.— Берет с колышка иаше полотенце, вытирается и снова говорит: — Генин?

— Вроде нет,— ухмыляясь, отвечает Юднн.

— Зря. А вот я — геннй. Зиновий Блюмберг.— Не давая опомннться, ои наступает.— А теперь пошлн к вам. Пожрать-то найдется? Кулачье небось?

Перед человеком большой массы я всегда чувствую себя как-то иеловко. Робость берет, что ли, уднвленне — ие пойму.

Мы сидим по одиу сторону стола, Зиновий — по другую. Я гляжу, как уплетает он небогатую иашу снедь, н думаю: вот Коля, друг мой,— такой же, как я, обыкновенный. Толя со своим таннственным глазом — тоже обыкновенный; Лева, Внтя... Говорят, жестикулируют — и ничего. А этот повернет башку — событне. Шевельиет рукой — тоже. Просто сндит молча, и то думаешь: гора, ума палата.

Я польщен прнсутствием гення. Коля, прнвалясь к стене, раздумчнво, исподтишка приглядывается, прислушивается к Блюмбергу.

Дрозд листает томнк любимого Роллана и делает вид, что равнодушен и к гостю, и к разговору. Дело в том, что ему только что досталось от Блюмберга.

— Кто же ты в конце концов? — спросил Зиновнй.— Лев или дрозд? — И, заметив, что Лева обнделся, прнбавил: — Обнжаешься иа слова,— зиачит, глуп, братец. Ведь я это от любви к человечеству.

Такой любвн Лева не поннмал. А Блюмберг, подбнрая последнне крохи со стола, все говорит:

— Кто к нам едет? Умы, хлопцы. Умы. Заведется гденибудь на Полтавщине или Смоленщине — прет сюда, к нам. А куда ж ему, уму? У иас поэт однн сказал: «А мы — умы! А вы — увы!» Вот так, дубье... Будьте здоровы.— Зиновнй шумио встает и, шаркая стоптаиными тапочкамн, уходит. И сразу становится просторно, даже пусто, зато как-то легче, проще.

— Блюмберг — это явлеиие,— мрачно говорит Юдин.

4

Общежитие наше — в одном коице Москвы, на Усачевке, нститут — в другом, в Сокольннках. Чтобы попасть в него, надо пересечь весь город. Миоголюдье в трамваях, в метро,

на улицах. Мы словно попали на какой-то праздник, которому не скоро еще конец.

Сегодня приемный экзамен. Дорога в институт уже знакома. Мы идем к трамвайному кругу у Новодевичьего монастыря. Утренние тени густо лежат на прохладном асфальте. Ночью прошел дождь, и дома, деревья, цветы за железной оградкой бульвара дышат свежестью только что рожденного мира.

> Среди домов, автомобилей,
> Средь этой ранней суеты,
> И люди праздничными были,
> И люди были как цветы...

Это бормочет Коля.

На трамвайном кругу людно. Отсюда начинается один из потоков, который вместе с другими, берущими начало в других местах, вливается у Дворца Советов в метро. Стремительно несет нас под землей к Сокольникам. На Колином лице блуждает улыбка, глаза какие-то работающие. Они ощупывают толпу, останавливаются на разных лицах, то улыбаются, то становятся серьезными, то вспыхивают, удивленные неожиданным открытием.

Две-три трамвайные остановки, и мы отрываемся от подножек. Направо дымит гигантская труба завода «Богатырь», налево, за дачными деревянными домиками, почти в лесу, поблескивает стеклами четырехэтажное здание института. Небольшой уютный дворик за дощатым зеленым забором.

Во дворе полно молодого народу. Народ отменный, оригинальный. Даже по внешнему виду — по взглядам, жестам, манере говорить, двигаться — догадываешься: каждый уникум, личность. Вот у забора стоят трое. Они обмениваются короткими и, видимо, очень умными репликами. Полные достоинства, уникумы наслаждаются беседой, ибо понимают друг друга с полуслова. Белокурый красавец при каждой затяжке папиросой вскидывает голову и тонкой длинной струйкой выпускает в сторону синий дымок. Рядом — высокий и худой и тоже белокурый, перед тем как процедить свою фразу, нервно передергивает лицом. О, это лицо! В отличие от наших, широкоскулых, оно сдавлено с боков так, что, если посмотреть на него в профиль, кажется вырезанным из кости. Это лицо не знает решительно ничего, кроме постоянной, неутомимой, возвышающей человека ра-

боты интеллекта. Третий, хотя и в другом роде — большеголовый, мешковатый, многослойные очки на расплюснутом носу — у нас такого непременно бы прозвали жабой,— держится с таким же, как и его собеседники, достоинством и, зыркая сквозь толстые стекла, ломая широкий рот в усмешке, словно говорит своим видом: нас голыми руками не возьмешь, мы знаем столько же и еще раз столько.

На мраморных маршах лестницы кого-то обчитывает собственными стихами шепелявый юноша. Смешно двигая нижней челюстью, он скороговоркой пробегает начало строки, зато конец ее буквально выпевает. Получается однообразно и оригинально.

Море расплескалось сотней га-а-амм,
Бьет клыками волн по бе-ре-га-а-ам,
И медуза падает дрожа-а
С лезвия рыбацкого ножа-а.

И лишь отдельные фигуры робковатых и неуверенных уныло горбятся по уголкам и закоулкам над школьными тетрадками, пользуясь последними минутами перед первым вступительным экзаменом.

Коля, я и Витя Ласточкин держимся вместе, присматриваемся к будущим своим однокашникам и пока робеем. Только в аудитории нас покидает робость. Здесь все равны перед судьбой. Она лежит перед каждым из нас в виде чистых листов бумаги с институтским штампом. В зависимости от того, что будет написано на этих листах за шесть томительных часов, к одним она повернется лицом, к другим — спиной.

5

Две недели шли долго и неровно, будто толчками от экзамена к экзамену. Но когда они все же прошли, то показалось, что прошли очень быстро. Кроме Вити Ласточкина, не добравшего одного балла, все мы были зачислены в институт. Было жаль парня и неловко перед ним, но сделать мы ничего не могли. Витя молча переживал несчастье, со лба его не сходила глубокая складка. Вечером, не включая света, сидели мы грустные, говорили шепотом. Совсем некстати ввалился Зиновий Блюмберг. Он щелкнул выключателем.

— Прозябаете, огольцы? — Заметив, что на него не об-

ратили внимания, незнакомым для нас голосом спросил: — Что, хлопчики, случилось?

Мы рассказали Зиновию о нашем несчастье. Тот хмыкнул, смерил взглядом Ласточкина:

— Советской власти предан? — Вите совсем было не до шуток, и в то же время нельзя было не рассмеяться.— Ладно, что-нибудь придумаем,— успокоил Зиновий и, тяжело переваливаясь, вышел.

Зиновий Блюмберг приехал откуда-то с Украины и был на земле один как перст. Летом никогда не уезжал на родину — не к кому. Каникулы проводил в общежитии, слонялся в приемной комиссии института и был там своим человеком. Мы и верили и не верили его обещанию. Однако на следующий день он заглянул к нам с потрепанным учебником в руках и увел к себе Витю. Он уже побывал у ректорши, старой большевички, и убедил ее помочь пролетарскому сыну Виктору Ласточкину. Ректорша обещала зачислить на экономический факультет, если пролетарский сын покажет знания не только по литературе, но и по политэкономии. Возвращаясь в общежитие, Зиновий прихватил из библиотеки старый вузовский учебник незнакомой нам политэкономии.

Витя пришел от Блюмберга вечером — красный, улыбающийся и вспотевший. Он долго не мог ничего сказать нам, улыбался и вертел головой.

— Да-а... Действительно...

Зиновий много часов подряд потрясал Ласточкина своим умом и знаниями, после чего Витя никак не мог прийти в себя. Ему оставалось за ночь проштудировать учебник, а утром предстать на собеседовании — перед кем, он и сам не знал. Чтобы не оставлять его в одиночестве, мы отправились все вместе в читальный зал. Юдин выписал с десяток книг и начал листать их одну за другой, рылся в предисловиях и комментариях, шевеля пухлыми губами, о чем-то таинственно перешептываясь с самим собой. Лева Дрозд выборочно наслаждался Ролланом, то и дело обращаясь к Юдину за сочувствием. Я с трепетом переворачивал тяжелые меловые страницы иллюстрированного Шекспира и чувствовал себя наверху блаженства. И только друг мой Коля долго переминался у стойки, рассеянно перекапывал каталоги и, видимо, ждал, пока мы не увлечемся чтением. Вообще он был сегодня не такой, как всегда. Наконец он получил книги и сел поодаль от нас. Юдин уже успел ревниво обследовать все, что было у каждого на руках. Он

подошел к Коле и молча запустил нервную руку под обложку книги, приподнял и улыбнулся.

— Ну, ладно тебе,— обиженно сказал Коля, закрыв ладонями книгу. У него оказался первый том «Капитала». Рядом лежал словарь иностранных слов. Словарь мне был понятен, это давняя Колина страсть. Обложки его учебников были всегда исписаны иностранными словами и их значениями.

Когда мы вышли покурить, Юдин спросил:

— Коля, почему «Капитал»?

— Просто так,— ответил Коля.— Сегодня наша первая студенческая ночь, и мне хотелось, чтобы эта ночь запомнилась, и я подумал: какая есть в мире самая великая книга? Я никогда не читал «Капитала», но я подумал... и мне захотелось прикоснуться сегодня...

— К великому?

— Да,— серьезно ответил Коля. Мы помолчали всего лишь минуту. Но эта минута чем-то выделила Колю. Он стоял сейчас не похожий ни на кого. Маленький круглый подбородок и припухшие веки, и под глазами кожа чуть-чуть привяла. От недоедания. И скошенная на сторону челка. Этакий бурсачок в одну из редких своих счастливых минут... И все же совсем, совсем не такой, как всегда.

Я спросил Витю, как дается ему политэкономия. Пока он говорил, Юдин исподлобья разглядывал Колю, будто изучал его, будто видел его впервые.

Давно ушли работники библиотеки, в читальном зале мы были одни. На толстых зеленых стеклах столов лежала предрассветная тишина. Шелестели страницы под нервными руками Юдина, слышно было, как отдувался и сопел от натуги Витя Ласточкин и как вздыхал от переживаний Лева Дрозд. Это была особенная тишина. Это работала наша юная мысль.

На рассвете, когда стали блекнуть настольные лампы, я неожиданно заметил перед собой на зеленом стекле руку. Неподвижная, с четко очерченными пальцами, лежала она отдельно от всего, в сумеречном зеленоватом свете, и напоминала какое-то диковинное и удивительное существо, от которого нельзя было отвести глаз. И когда наконец сообразил я, что это была просто рука, моя рука, я понял, как далеко занесло меня вслед за Шекспиром. Я достал папиросу, закурил и подсел к Коле рассказать по старой нашей привычке о только что пережитых минутах. Коля выслушал и сказал шепотом:

— Мистика. — Потом улыбнулся теплыми серыми глазами, знакомо расширил их и прибавил: — Здорово, правда?..

6

Наконец-то наступили эти минуты. И все, что было до них, все, чем мы жили прежде, казалось теперь только ожиданием этих минут.

Мы сидим не за партами, как бывало в школе, и даже не за столиками, как в дни приемных экзаменов. Мы сидим в главной аудитории за барьерами-полукружиями, которые уступами уходят вглубь и вверх, почти до самого потолка, и которые не знаешь даже как и назвать. А между двумя выходами — невысокие подмостки, на них длинный стол и кафедра, а за кафедрой необыкновенный человек. Профессор!

Седенький, с желтой щеткой усов, он затягивается несмятой папиросной «Дели», пускает перед собой белое облако дыма и говорит сквозь облако необыкновенные, как и сам, слова.

Облако то рассеивается, то снова окутывает голову профессора, и, слушая лекцию-сказку о богах и героях, мы не замечаем, как бежит время. Но вот сказка обрывается бесцеремонным звонком, и, потолкавшись в коридоре, мы заполняем новую аудиторию, чтобы погрузиться в новую сказку.

А здесь уже другой, но тоже необыкновенный человек. Зовут его Николай Альбертович. Вот он поднимает правую руку, и пальцы, длинные умные пальцы, повисают над нами и заставляют меня мучительно думать: где же я это видел? Вспомнил! Это бог осеняет мир величавым двуперстием. Только у того, настоящего бога, не было на безымянном пальце дорогого старинного перстня, а Николай Альбертович забыл в свою левую руку вложить земной шар.

— Итак, друзья мои,— говорит он устало и мудро,— мы приступаем к изучению латыни. Не верьте тому, кто скажет: латынь — мертвый язык, язык канувшего в вечность народа. Нет, друзья мои, этот язык бессмертен, как и народ, некогда говоривший на нем.

Николай Альбертович берет мел, и на доске появляются первые фразы. Он произносит их нараспев:

— Сальвэтэ, амици! Что значит: «Здравствуйте, друзья!»

— Сальвэ ту квоквэ, профэссор! Здравствуй же и ты, профессор!

Отныне каждое наше занятие у Николая Альбертовича начинается этими сокровенными словами.

— Сальвэтэ, амици! — осеняя нас двуперстием, произносит учитель. И, зачарованные, как ученики Сократа, и почти непохожие на самих себя, мы поднимаемся и нестройным хором ответствуем:

— Сальвэ ту квоквэ, профэссор!

В молодости своей Николай Альбертович много путешествовал. Пешком исходил вдоль и поперек Италию, Грецию, Ближний и Средний Восток. Он может часами предаваться воспоминаниям о путешествиях. Поводом ему служит любая буква латыни, любая строчка из Юлия Цезаря, которого понемногу мы начинаем читать. Часами баюкает нас глуховатый голос профессора.

— Однажды, друзья мои,— начинает очередную новеллу Николай Альбертович,— я возвращался из Цюриха в Женеву. В купе нас было двое. Тронулся поезд, и мой сосед — средних лет интеллигентный человек — извлек из кармана небольшой томик и углубился в чтение. В дороге я также имел обыкновением своим читать любимых писателей. На этот раз в моих руках был Гораций. За окном вагона проплывала осенняя Швейцария. Я наслаждался красотой швейцарских пейзажей и стихами великого поэта. Изредка обращал свой взор на моего спутника. Дело в том, что книга, которую он читал с глубочайшим вниманием, как я заметил, была русской и чем-то очень мне знакомой. «Простите,— не удержался я, обратившись к незнакомцу по-русски,— что за книгу читаете вы с таким интересом?» Тот поднял голову, окинул меня быстрым, живым взглядом, протянул томик и весело сказал: «Гораций. Замечательный, между прочим, писатель. Хотя и древний».

Николай Альбертович сделал паузу и закрыл глаза, не желая в эту минуту видеть нас. Он хотел остаться один на один с далекими своими годами. Потом он взглянул на нас удивленно и поднял указательный палец.

— А знаете ли вы, кто был этим незнакомцем? — спросил он.— Это был,— голос Николая Альбертовича дрогнул,— это был Владимир Ильич. Да, друзья мои, Владимир Ильич Ульянов-Ленин.

«Да-а!» — сказал бы Витя Ласточкин. Но сейчас он сидел в другой аудитории. Было тихо-тихо. И я услышал, как шумно вздохнул над ухом у меня Коля.

7

Совсем другое дело капитаи Портянкии. Из главиого здания мы ходнм к нему в деревянный сарайчнк, где размещается тир, где закуток для стрелкового оружия и в песочных ящиках различные рельефы, на которых мы решаем тактнческие задачи. Здесь все просто и доступно. Собрать и разобрать виитовку, поразить протнвиика. Прнчем стараться поразнть напечатаииого иа бумаге протнвнника в десятку, то есть в сердце. Прост, доступеи н сам Портянкии. Он похлопывает иас по плечу, отпускает солдатскне шуткн, а когда отделили от иас девчоиок, с особеиным смаком стал выговаривать свое любимое прнсловье — «ясссное море!» Он так это выговарнвает, что мы чувствуем глухую тоску капнтаиа по крепкому слову. И еслн тоска эта слншком одолевает его, ои безо всякого стесиения употребляет н такне слова. В этом сарае капнтан Портяикин по-своему распоряжается иашими судьбамн. Он вроде и ие подозревает, что, может, кто думает о литературиой славе, а кто об учеиой, а кто и об нной какой славе. Ои зиает только одио: «Молодец! Хороший боец получится!» Или иаоборот: «Горе луковое! Какой же из тебя боец получнтся!» Или так еще: «Кто же так стреляет с положення лежа? Вот ои прнжмет тебя огнем к земле, а ты что? А ты с положення лежа стрелять не умеешь».

— Кто он? — спрашивает непутевый боец.

— Противинк, коиечио,— отвечает капитан.

— Я не собираюсь быть военииым,— ие сдается студент.

После такнх слов капитаи Портянкии останавливается на месте. Обычио ои ходит перед иами, поскрипывает сапогамн н ремеиной сбруей, а тут останавливается, смотрнт страшно удивленнымн глазами, потом говорнт:

— Эх ты, ясссное море! Ои не собирается!.. А кем же ты собираешься? Кем же ты будешь, когда ои тебя в задиее место клюнет?

Тут мы разражаемся хохотом. Не потому, что иам очень смешио, а потому, что мы хорошо отиосимся к капнтану и поощряем его смехом, когда он острнт. Капнтан тоже начинает смеяться, но в отличне от нас делает это от всей души. Что-то у него булькает, потом ои закашливается, машет иа иас рукой, и смех прекращается. У него еще с граждаиской легкое, что ли, прострелено нлн осколок какой в груди — толком как-то не случилось разузнать.

Одни раз после такой веселой мииуты Коля спроснл:

— Товарищ капитан! Вы на самом деле верите? Война на самом деле будет?.. Вы так с нами обращаетесь, как будто война начнется не сегодня, так завтра.

Капитан остановился, задумался. И мы получили лекцию о международном положении. Это положение нам в общем было известно. Но капитан Портянкин так его осветил, что впереди никакого другого выхода не было, кроме войны.

— А как же пакт о ненападении? — растерянно спросил я. В самом деле, как же пакт? В наших газетах даже слово «фашизм» исчезло. Режим Гитлера стали называть национал-социализмом. Вообще как-то тихо стало. Капитан Портянкин на это ответил:

— Страшно, когда война начинается молча...

Как это молча? Война? Молча? Исподтишка? Значит — нас обманывают у всех на глазах? И этот фон Риббентроп только снаружи такой гладенький, улыбчивый и такой сияюще мирный? Он обнимается с нашими руководителями, пьет вино из наших погребов — говорят, у фон Риббентропа редкий вкус на вина! Он потешает наших руководителей светскими манерами, светскими остротами, он делает все, чтобы понравиться. И чтобы война началась молча.

А наши? Знают они или не знают? Конечно, знают. Там все знают. И делают так, как надо. Рассказывают анекдот. Риббентроп представляется видному нашему дипломату: «Фон Риббентроп». И подает ручку. «Фонвизин»,— отвечает наш и тоже протягивает ручку. Приятный смех. Приятный и вполне светский...

— Товарищ капитан?!

8

Но стоило нам вернуться в главное здание, опять начиналась древность.

На русской литературе, хотя древность была и нашей, русской, она казалась такой же далекой от всего, что окружало нас на улицах и в нашем общежитии. И мы опять забывали про капитана Портянкина и про его науку.

Русская история, которую читал элегантный толстяк, также уводила нас в глубокую древность, к скифам, которые плясали до обалдения вокруг конопляных костров, воевали с печенегами, занимались земледелием и скотоводством. Отшумевшие миры, воинственные набеги кочевых племен, победы и поражения путались в наших головах, снились по ночам, и временами начинало казаться, что сам

ты и твои товарищи, метро и трамваи, люди, улицы, дома, студенческая столовка и последние известия — все это условно и нереально. Реальными были дорога из варяг в греки, Навуходоносор и Цезарь, Аттила и князь Игорь...

— Там, где конь Аттилы ступал копытом, никогда не росла трава. Хан сидел в Бахчисарае, как волк в своем логове, каждый год со своей легкой конницей он налетал на Польшу и Москву, жег, грабил, уводил в плен народ и так же быстро скрывался за Перекоп,— выпалил я без роздыха и обалдело уставился на ребят. Был вечерний час, ярко горела лампочка, и каждый возился с каким-то своим делом. Юдин, перебиравший книги, положил стопку на этажерку и быстро подошел ко мне:

— Я научу тебя, как это делать. Возьми вот так ладонь, поднеси к губам. Теперь дыши. Чувствуешь?

— А что я должен чувствовать?

— Теплый воздух.

— Ну?

— Ну вот. Ты болен.— Сказал он это деловито-равнодушно и тут же с неуклюжей поспешностью подхватил отобранные книги и юркнул за дверь.

Леву Дрозда будто укололи. Он вскочил с кровати и бросился к книгам:

— Так и знал! Моего Хлебникова уволок.— Лева растерянно оглядел нас, ища сочувствия. Но Витя морщил лоб над письмом к родителям. Коля, утонув в прогнувшейся кровати и привалясь к стене, занимался французским, поминутно заглядывая в словарь и шепча чужие слова.

— В конце концов! — сказал Лева, и девичьи губы его вспухли от обиды. Голенастый, нахмуренный, рванулся он вслед за Юдиным.

Коля кивнул мне.

— Слушай,— сказал он, и в голосе его почувствовалось волнение. Вообще у Коли было как бы два голоса — обычный и необычный. Когда он бывал чем-то растроган, в его обычном голосе то и дело появлялась какая-то особая нота. Вроде перекатывалось у него что-то в горле. Вот этим необычным голосом он и сказал: «Слушай!» — и стал читать полушепотом что-то французское.

— Ну? — спросил я, не понимая смысла.

— Слушай,— повторил он и, запинаясь, подыскивая слова, стал переводить: — Женщина потеряла на войне мужа. Она не перенесла бы этого горя, если бы не крошка сын. Он стал ее единственным утешением. Всю любовь свою она

отдавала ему. Недоедая, недосыпая ночей, она трудилась, чтобы мальчику было хорошо. И мальчик рос беззаботно и весело. А когда вырос и стал красивым и статным, а мать совсем состарилась, юноша полюбил девушку. Полюбил и привел ее в дом. И с этого дня плохо стало матери. Ее ненавидела и мучила молодая хозяйка. Однажды сказала она своему юному мужу: «Ты должен убить старую каргу, а сердце ее бросить собаке. Не сделаешь этого — уйду». И тогда, ослепленный любовью, сын убил свою мать и вынул ее сердце и бросился отдать его собаке. Он бежал, не помня себя, споткнулся и упал, и сердце выпало у него из рук. И, лежа на земле, он услышал, как сердце спросило тихим человеческим голосом: «Ты не ушибся, мой мальчик?»

Что я мог сказать Коле? Песня была жестокой и сентиментальной. Я опасливо покосился на черный столбик нерусских слов, потом на Колино лицо.

— Что ты смотришь? — улыбнулся он.

— Да нет, ничего...

Я вспомнил давнюю Колину поездку из города, где мы учились, в степное село Петропавловское, где жили на поселении чуждые элементы, его родители. Коля был сыном раскулаченных родителей. Его отец пел в церковном хоре, пел знаменито. Даже был каким-то помощником церковного дирижера, регента. Тоска погнала Колю к маме. Ночью, когда он приехал, его схватили и заперли в петропавловской комендатуре. Он был тоже «элементом», но «элементом»-подростком, и поэтому его не стали разыскивать, когда он бежал.

Он бежал и жил в городе, у двоюродной сестры. Жил как все. Из пионеров перешел в комсомольцы и школьные стихи писал о красном комиссаре.

Не знаю, об этом думал Коля или о чем другом, но был он сейчас задумчив и скучноват.

Широко распахнулась дверь. Вошел Дрозд. За ним с тихой загадочной улыбкой Юдин. Толя Юдин не был простым человеком. Например: улыбался он загадочно, исподтишка. И вообще многое в нем было загадочно. Мы знали, что его брат играет в киевском оркестре, в письмах к Толе он никогда не подписывался, а рисовал человечка, играющего на трубе. О родителях своих Юдин сочинял легенды — одну нелепее другой, и мы совсем перестали интересоваться его биографией.

Юдин знал всю мировую литературу. Правда, как вы-

яснилось, знал по предисловням и прнмечанням. Кннг же читал мало. Зато был редким книголюбом-коллекцнонером. За короткое время стал близким другом всех московских букинистов. Коллекционнровал он ие только кннги. Коллекцноннровал и людей. Не было такой иедели, чтобы он не привел к нам в комиату какого-нибудь редкого человека. Он приводнл этого человека и, не то хмурясь, не то смущаясь, пряча глаза, бурчал: «Знакомьтесь, хлопцы. Это — Муня Люмкнс, переводнт с итальянского, знает наизусть всего Данте».

Приводнл угреватого юношу с озорнымн глазами, который тоже был редким человеком, увлекался писаннямн Ннцше, умел читать кннгн по диагоналн и после этого пересказывать их чуть ли ие дословно.

Однажды Толя привел даже старика алкоголнка, оказавшегося известным в свое время имажииистом, другом Есенина. Со всеми этими людьми, как правило, потом мы не встречалнсь. Забывал про инх и сам Юднн. Но с двумя из них мы все же подружнлнсь. Это былн ирусскне ребята. Один — сухонький серб с золотым зубом, Самаржнч. Другой — испанец, республиканскнй испанец Парга-Парада Антонно. Самаржич был в Интернациональиой бригаде и сражался под Мадрндом. Аитонио Парга-Парада был солдатом Республики и тоже сражался под Мадридом. Сухонькнй Самаржнч и чериый, как воронеиок, с лоснящейся от брнльянтина головой и перстеиьком иа мнзннце Антоино с первого раза совсем не былн похожн на ту Испанию.

Я только что прочитал дневникн писателя, сражавшегося в Испании. Меня особеино поразило одно место. Пнсатель находился с бойцамн в обороие, среди каких-то развалнн. Они лежалн под артиллерийским обстрелом, и один снаряд разорвался совсем рядом. Когда писатель пришел в сознание и открыл глаза, перед ним все было красным. Красное иебо, красные развалнны. Весь мнр красиый. Это на стекла очков брызнула чья-то кровь, и пнсатель увидел небо н все вокруг себя через чью-то кровь. Когда Юдин прнвел сухонького Самаржнча н набрильяитниенного Парга-Парада, я не увндел почти ничего. Но это с самого начала. А потом Самаржич сказал: «Товарищн (он изавал нас так официально в домашней обстановке), товарищи, мы не сдались! Мы отступили. Мы будем еще иаступать!»

Глаза его сухо вспыхнули, он переглянулся с Антонио Парга-Парада, тот разжал зубы и подтверднл. «Самаржич правнльно говорнт»,— сказал ои. И я опять увидел Испа-

нию и все, что там было, через те красные стекла...

— Входи, Марьяна,— сказал Юдин, немного смущаясь, и пропустил незнакомую девушку. Та вошла с каким-то наигранным вызовом и так же наигранно (стеснялась, наверно), вызывающе поздоровалась. Опять какой-нибудь редкий человек?

— Здравствуйте, мальчики! А что вы такие грустные? — И глазами потребовала у Юдина объяснить, что это значит. Но Юдин топтался на месте, еще больше смущаясь. У Марьяны был надтреснутый, как у сороки, голос. От нее сразу становилось шумно.

Нет, она ничуть не стеснялась.

— Я, мальчики, всех вас знаю по Толиным рассказам. Вот вы — Витя. Так? Так. Здравствуйте, Витя.— Она крупно шагнула к столу и пожала Витину руку, заставив его покраснеть до ушей... Она действительно всех узнала и каждому потрясла руку.

— Ну, а с Левой мы уже знакомы.— Лева со спасенным Хлебниковым в руках не то что снял, а как-то весь лоснился.

— Вот и познакомились,— продолжала Марьяна.— Чтобы сохранить нашу дружбу — ведь мы будем дружить, правда? — вы хорошенько проверьте, мальчики, свои библиотеки. У вашего Юдина есть привычка дарить мне чужие книги. А сейчас мы пойдем в музкомнату слушать музыку.— Она обвела нас нетерпеливыми круглыми глазами, что означало: ну, мальчики! — и поторопила, как непослушных ребят: давайте, давайте!

Музыкальная комната, о которой мы и не подозревали, была в первом этаже нашего шестиэтажного краснокирпичного гиганта. Мы прошли длинным коридором и свернули в темный, неосвещенный тупичок. Марьяна пошарила в темноте, без скрипа открыла дверь и глазами позвала нас.

В углу, за черным роялем, спиной к нам сидел черный человек. Угрюмое очкастое лицо было обращено к нам вопросом.

— Это Полтавский, тоже Толя, гениальный музыкант,— представила нам Марьяна черного человека.— А это — Юдин и Дрозд, мещане знаменитых городов Киева и Тамбова. И крестьянские дети.— Она назвала нас по имени и добавила: — Все они любят музыку.

Полтавский выслушал Марьяну угрюмо, без улыбки. За толстыми стеклами глаза его были надежно спрятаны.

Он медленно поднялся — высокий, чуть сутулый, приставил к роялю второй стул и снова сел.

— Юдин, ноты,— приказала Марьяна.

Пошелестели желтыми страницами, пошушукались о чем-то. Полтавский косиулся длинным пальцем нотной страницы и кивнул черной головой.

Потом опустил на клавиши тяжелые свои руки.

Мы сидели в углу на старом кожаном диване. Толя Юдин шепотом объявлял нам каждый раз, когда начиналось новое. Вторая... Пятая... Траурный марш из Седьмой... Пятый концерт... Первый...

Эта комната стала нашим заветным уголком. Нашей консерваторией. Мы приходили сюда все вместе и порознь. Мы подружились с Толей Полтавским. Он покорил нас своей игрой и угрюмой своей нежностью. И сейчас, двадцать лет спустя, я много бы дал тому, кто вернул мне хотя бы один час в той комнате в тупичке первого этажа. Только час этот вместе с Колей и Витей Ласточкиным и Толей Юдиным, Дроздом и Марьяной и нежным молчальником Толей Полтавским. Я понимаю, что все это невозможно, к сожалению. Но я сажусь к столу и пишу, чтобы все-таки сделать невозможное.

9

Осень в самом разгаре. Тихая, прозрачная осень Москвы.

По Богородскому шоссе, по красной кленовой аллее, уже не летит, как оглашенный, трамвай. Он ползет еле-еле. Можно спрыгнуть с подножки, пробежаться и снова вскочить на подножку. Перед каждым изгибом и поворотом предупреждающие таблички: «Осторожно — листопад!», «Осторожно — юз!».

Налитые сочной охрой, тяжелые, глянцевые от росы листья падают на влажный асфальт. Они застилают пути, и тогда колеса трамвая начинают буксовать и на быстром ходу могут сойти с рельсов. Это и называется «юзом». Но мы по-своему читаем предупреждающие таблички: «Осторожно — листопад! Осторожно — красота!» Слышим шорох листьев, видим, как ворохами рдеют они у железных решеток ограды. «Юз» — это влажно пламенеющие клены и пятна синего неба, это льдисто-прозрачный воздух, это холодящие руку полированные поручни трамвая. Это продол-

жеиие чудес, которые приходят к иам с каждым новым днем.

Да, мир, в котором мы живем, прекрасен.

Мы с гордой небрежностью открываем стекляииую дверь иститута, сбегаем в подвальный этаж раздевалки и оттуда, ие торопясь, поправляя на ходу волосы, подиимаемся на первый этаж, чтобы до звонка обмеияться приветствиями с однокурсниками.

Сегодня здесь что-то произошло. Молодые умы, обычно фланирующие по лестницам и коридорам, сегодия толпятся у стены, густо лепятся друг к другу. Через их головы видим гигантскую газету — «КОМ-СО-МО-ЛИЯ». Тяиется она по всей стене до конца коридора. По своим размерам, по краскам, по вдохиовеиным росчеркам и рисуикам все это не было стеииой газетой. Это было произведение искусства.

Коля, задрав голову, выставив острый кадычок, ищет мою руку. Как дети держась за руки, мы продвигаемся вдоль толпы.

«Комсомолия» кричит о Ферганской долине, о Ферганском канале. Газета бьет в глаза Ферганой. Песни и верблюды! Азиатские головы в тюбетейках и тюрбанах, тачки и кетмени. Люди в пестрых халатах с поднятыми к иебу иерихонскими трубами — карнаями. Студеиты в пустыие! Наш друг Камиль Файзулов! Девушка из Коканда!.. И иад всем этим, поверху красными литерами словарь Ферганы. Солнце — куйош! Человек — инсон! Хлеб — нон! Вода — сув! Небо — осимон!

Да, мир, в котором мы живем, прекрасен. Но, видио, не дано человеку иайти раз и иавсегда одно-единственное счастье. Сегодия ударили по нему красные полотиа «Комсомолии», и оио как-то потускнело, сузилось, и замаячила перед иами ииая жизнь, иной мир. Он позвал иас зиойным голосом Ферганы, взбаламутил и спутал иаши мысли и наши мечты.

Нет, ие удается понять сегодня, о чем говорит профессор. Я слежу только за его жестами, иа которые вчера еще не обратил бы виимаиия. В аудитории вкрадчивый шелест, шепот. Но Коля иевозмутим. Он слушает и пишет. Лицо его то обращено к профессору, то склоияется иад коиспектом. Вииз — вверх, вииз — вверх. Словио птица, что пьет из дорожиой колеи иа утреиией зорьке.

И все же, и все же. На полях его тетрадки появляется слово «солнце». Он толкает меия локтем и ставит после

«солнца» вопрос. Я шепчу на ухо: «Куйош». Коля ставит тире и затем новое слово — «куйош».

Фергаиа, Фергана!

А вечером встреча со студентами — участниками ферганской стройки. Но об этом я ничего не могу рассказать. У меня и сейчас еще нет таких слов.

Я скажу только, что не было в мире людей прекраснее этих — загорелых и умиых незнакомых наших товарищей, живущих с нами под одной крышей.

Один за другим проходили они в президиум, и шепот проносил над густыми рядами их имена: это Млечный, это Голосовский, Чернов, Бокишев, Леванчук... И среди них неуклюже прошаркал к столу башковитый наш гений Зиновий Блюмберг. Смущенные и очень скромные, они садились слева и справа от седой большевички, нашей ректорши...

Вечер закоичился ночью. По Ростокинскому проезду, будя уснувших птиц, хлынула гулкая молодая толпа, разбудораженная романтикой далекой Ферганы.

Трамвай скрежетал в ночи, возвращая нас домой по аллее листопада. Чернели клены, тускло повторялись фонари в черном глянце асфальта. На площадке, под яркой лампой, мы сбились вокруг Блюмберга — сегодня совсем необычного для нас, совсем нового. Словно уличенный в чем-то таком, в чем ему никак не хотелось быть уличенным, еще не остывший от всего, что было, он чувствовал себя впервые перед нами неловко и изо всех сил старался войти в обычиую свою роль. Уклоияясь от наших восторгов, он благодушно и чуть свысока усмехался, овладевал собой.

— Счастливчики,— говорил он с издевкой, в которую мы уже не верили.— Растете, как трава растет...— Он хрипло засмеялся.— А? Дрозд! Красив, подлец! Сын Лаокоона!..

Из-за плеча Юдина смотрит на Зиновня круглыми нетерпеливыми глазамн Марьяна.

— Блюмберг! — вдруг говорит она нз засады.— Почему тебя не любят? И девочки наши тоже.

Удивительиое дело — Блюмберг густо краснеет, потом ухмыляется, потом говорит:

— Я мудр и прожорлив. И некрасив. И несчастлив. Женщины это знают.

Нет, разговор все же не тот. На уме у всех другое. И наконец-то вырвалось у Зиновия:

— Фергана, хлопцы,— это работа! — сказал он и начал

мерить нас глазами, как бы взвешивая каждого.— Может, вам золотой век снится? Золотой век — это тоже работа. Но ведь это же здорово! Здорово, хлопцы...

Мы сходим с трамвая и вслед за шаркающим Зиновием спешим в метро.

— Столица! — шумит он, захватывая рукой мерцающую огнями площадь.— Цените!

В грохочущем вагоне Блюмберг кричит нам:

— А знаете, что сказал о золотом веке старик Гегель? Идеалист Георг Вильгельм Фридрих Гегель сказал: «Человек не имеет права жить в этой идиллической духовной нищете, он должен работать». Слыхали? Не имеет права!

...Уставшие, мы сразу же разбрелись по койкам, потушили свет и легли. Но день этот был слишком большим, чтобы можно было сразу забыться и уснуть. Ворочаемся. Вздыхаем. В голове еще стоят последние слова Блюмберга. Он заметил на синем квадрате окна в глубине коридора два силуэта.

— Целуются, подлецы! И с вами то будет.— Да. Толя тоже где-то отстал с Марьяной. Силуэты...

— Николай, не спишь? — скрипнув пружинной сеткой, шепчет Витя Ласточкин.— А что, если махнуть к чертовой бабушке в Фергану?

— Там все закончилось,— серьезно отвечает Коля.

— В другое место?

— Мы должны учиться...

Тихо. Вздыхает Коля. У Вити, наверное, складочка сейчас резко пролегла по маленькому крепкому лбу. Тонкий, почти неуловимый всхлип, будто лопнула почка или упала капля. Это шевельнул влажными губами Лева Дрозд. А Толя сейчас целуется.

И все-таки мы уснули.

10

Отчетный доклад и не очень бурные прения закончились, и был объявлен перерыв. Народ заполнил коридоры, лестничные марши, подоконники. Всюду гудели, гомонили, смеялись, сбившись кучками, о чем-то спорили, пели.

Общие комсомольские собрания факультета случались не часто, и нам интересно было потереться среди старшекурсников, послушать, о чем они говорят. Мы с Колей пристроились возле ребят, куривших у лестницы. Они курили и вполголоса пели. Мы слушали и следили за их лицами.

— Зина! — крикнул кто-то из них.

И вот, разгребая снующую по коридору толпу, двинулся сюда Блюмберг. Он подошел к ребятам, неуклюже выставил вперед толстую ногу, ораторски произнес:

— В нашей стране даже камни поют! Эм. Горький.

Ребята грохнули, и песни не стало. Со ступеньки поднялся худущий парень с тонким лицом, тоже встал в позу и, сбиваясь на фальцет, воскликнул:

— Эх... испортил песню... дур-рак! Тоже Эм. Горький.

Опять грохнула лестница. Только Зина Блюмберг пригнул тяжелую голову и уничтожающе сузил глаза на худущего парня.

— Панас-с-с-юк! — смачно выговорил он, когда наступила тишина. Подошел вплотную к этому худущему Панасюку, навис над ним и процедил сквозь зубы: — Ну что это за фамилия — Па-на-с-с-сюк? Ссюк! — и отступил на шаг, с мрачной торжественностью сказал: — Вот фамилии: Шекспир!.. Гёте!.. Блюмберг!..

Лестница ответила ревом. Зиновий великодушно, с недосягаемых высот Шекспира и Гёте похлопал по плечу Панасюка.

Мы с Колей смеялись. Потому что не знали, что через какой-нибудь час Колю исключат из комсомола.

Как это все получилось?

После перерыва начали выдвигать кандидатов в новое комсомольское бюро. Кричали с мест, называли фамилии, паренек из президиума записывал эти фамилии на доске. Я видел, как в первых рядах вскакивал Юдин и кричал:

— Терентьев! Пиши Терентьева!

Паренек очумело посмотрел в сторону Юдина, махнул рукой и записал в столбик фамилий Терентьева. Коля показал кулак торжествовавшему Юдину.

Потом подвели черту и начали обсуждать кандидатов. Председательствующий называл записанные на доске имена и спрашивал, какие будут суждения.

— Оставить! — кричала аудитория.

— Будем слушать биографию?

— Знаем! — дружно орали с мест.

Конечно, старшие знали друг друга, им незачем было слушать биографии своих товарищей.

Иное дело Коля, первокурсник. Когда председатель назвал Колину фамилию, аудитория завертела головами, ища Терентьева. Коля, бледный от волнения, встал.

— Будем слушать?

— Будем! — нестройно ответило собрание.
— Знаем! — раздались одинокие голоса первокурсников.

Председатель попросил Колю к профессорской кафедре, которая служила нам трибуной. Коля прошел вниз, поднялся на подмостки и встал между президиумом и кафедрой. Чистыми глазами взглянул на аудиторию, набрал воздуху. Он стоял в своих вздутых на коленях брючках, без пиджака, в застиранной рубашке, стоял бледный, и такой насквозь ясный, и чуть-чуть жалкий, и чуть-чуть похожий на бессмертных ребят гражданской войны. Было в нем что-то пронизывающе понятное и еще такое, что вдруг, будто сговорившись, собрание взревело:

— Оставить! Знаем!

— Биографию! — спросил председатель.

— Знаем!..

Коля стоял все такой же бледный, только уши его пылали.

— Не надо! Знаем! — кричало собрание.

И Коля уже повернулся, чтобы уйти на место, когда в президиуме раздался голос, который остановил Колю и враз водворил тишину.

— Я ничего не знаю. Я хочу послушать биографию. Пусть Терентьев расскажет о родителях,— сказал этот голос. Сказал молодой человек, опрятный, тщательно причесанный и хорошо одетый. У него очень правильный голос и какое-то незапоминающееся лицо. Лицо незапоминающееся, а мы его хорошо знаем. Его хорошо знают все.

Мы сразу поняли: сейчас что-то будет. Всем стало ясно: этот знает о Терентьеве что-то серьезное. Он обо всех знал что-нибудь серьезное. Коля снова повернулся лицом к собранию и вместо биографии тихо сказал:

— Мои родители раскулачены и сосланы.

Он опустил голову и ждал вопросов. Тот человек снова поднялся и, глядя неопределенно на аудиторию, спросил, как относится Терентьев к своим родителям. Коля повернулся к тому и ответил вопросом:

— А как вы относитесь к своему отцу и к своей матери?

Тщательно причесанный человек опять послал свои слова в аудиторию, не взглянув на Колю.

— Мои родители члены ВКП(б),— сказал он.— Их никто не раскулачивал. Но я не об этом, я хочу услышать ответ на свой вопрос.

Тогда Коля сказал:

— Мои родители неграмотные и темные, но они хорошие люди, и я хорошо к ним отношусь.— Он помолчал, поднял голову и добавил: — Раскулачены и сосланы они неправильно. За то, что отец пел в церковном хоре.

С места кто-то крикнул:

— А почему пел в церковном хоре?

Поднял руку Блюмберг. Встал.

— Я хочу ответить этому глупцу...— (Председатель взял стеклянную пробку и постучал по графину.) — Я хочу ответить ему,— повторил Зиновий.— Русский мужик потому пел в церкви, что до Большого театра ходить было далеко.

Председатель махнул на Зиновия рукой,— садись, мол, дело тут совсем в другом. Но слова Зиновия все же произвели свое действие. Прокатился смешок, аудитория загомонила, вроде пришла в себя, ожила. Тогда взял слово опять тот. Голос его снова водворил тишину.

Он начал с того, что напомнил собранию, чему учит нас ВКП(б).

— ВКП(б),— сказал он авторитетно,— учит нас бдительности, уменью видеть за пролетарской внешностью обличье врага. Конечно,— оговорился он,— я не имею в виду непосредственно Терентьева. Я не говорю, что Терентьев — враг народа. Терентьев пока — политически незрелый, скажу точнее, неустойчивый элемент. И я удивляюсь, как это он оказался в комсомоле.

Что он говорит? Как он смеет?! Меня душила обида, злость, все внутри бунтовало, но в этой холодной, разделяющей людей тишине я не знал, что же такое нужно сделать. Коля весь повернулся к этому выглаженному гаду и широко открытыми глазами смотрел на него, словно не понимал или не слышал его слов. А тот говорил уже о правом уклоне, о бухаринцах, о том, наконец, что Терентьев считает политику раскулачивания и уничтожения кулака как класса неправильной и, следовательно, выступает против политики партии, против самой партии. Оратор выразил надежду, что собрание не проявит политической беспечности и немедленно решит вопрос об исключении Терентьева из комсомола.

Кто-то с места выкрикнул:

— Неправильно!..

Председатель наклонил большую лысеющую голову над графином и вежливо спросил:

— Вы хотите возразить? Пожалуйста — сюда,— показал он рукой на кафедру, возле которой стоял Коля.

Но возражать никто не захотел. Я вдруг вспомнил, как на одном из собраний вот так же спрашивали одного парнишку, как он относится к своим арестованным родителям. Парнишка ответил, что к врагам народа он относится так же, как и все советские люди. Вспомнил еще книжку, которую прочитал уже в Москве. В этой книжке описывался враг народа, как он ложился спать на свежую подушку, как становился в очередь за газировкой и пил газированную воду с сиропом, потом покупал цветы и ехал на вокзал встречать жену. Было страшно. Оказывается, враги народа пьют газировку, покупают цветы и ездят на вокзалы встречать своих жен. Все это в одну минуту нахлынуло на меня, и мне тоже не захотелось возражать. Но я все равно встал и начал что-то говорить, начал говорить все, что думал о Коле и об этом выглаженном человеке. Только говорил я плохо, все время путался, даже как будто кричал, а потом все мысли вдруг пропали, и я закончил просто ни на чем. Еще выступали, еще говорили в защиту Коли. Лучше всех, едко и убедительно выступал Зиновий Блюмберг. Но у того типа тоже нашлась поддержка, и он добился, что председатель объявил голосование. А перед этим дали слово Коле, что он хочет сказать собранию. Коля посмотрел на всех нас полными слез глазами и сказал:

— Ребята... не надо меня исключать.

Но его исключили. Правда, за исключение проголосовало совсем незначительное большинство...

А за час до этого мы беззаботно смеялись над тяжелыми шутками Блюмберга.

Как же это понять?..

Странно все же устроен человек. Еще вчера эти таблички на каждом изгибе Богородского шоссе звучали как стихи. А вот сейчас, когда мы возвращаемся с Колей после собрания, когда мы сидим в ночном громыхающем трамвае, сидим и молча смотрим сквозь черные стекла, эти таблички, освещенные фонарями, звучат совсем по-другому: «Осторожно — юз!», «Осторожно — листопад!». Осторожно...

11

Вот и зима пришла. На белых улицах дворники скребут тротуары, посыпают их песком. Ростокинский проезд завалило сугробами. По утрам жители деревянных домиков заботливо раскапывают тропинку вдоль дощатых заборов. Когда над парковыми соснами поднимается мохнатое солн-

це, по голубому снежному насту, искрясь и мерцая, кочуют розовые отсветы, а склоны сугробов синеют. Над резными ростокинскими теремками, как лисьи хвосты, торчмя стоят дымы. По глубокой тропке пробиваются к институту черные фигурки студентов. От институтских ворот, огибая обледенелую водопроводную колонку, бежит лыжня к заваленному снегом Чертову мостику, через синюю впадину пруда, в медноствольный сосняк.

Все идет так, как вроде и надо быть. Колина боль понемногу проходила. Он собрался было писать жалобу, но потом понял, что жаловаться на всю организацию неправильно и бесполезно. Комсомольский билет он не отдал, хранил при себе и все надеялся, что с ним разберутся еще и поправят эту обидную, допущенную целой организацией ошибку...

К ночным сидениям в читалке прибавились лыжи. К ним приохотила нас московская зима.

Витю Ласточкина выбрали в вузком комсомола, и он теперь частенько засиживался на заседаниях.

Юдин ввел нас в литературный кружок, которым руководил настоящий писатель первой величины. Коля боготворил этого человека с выпуклыми прозрачными глазами. Он даже купил трубку, почти такую же, как у писателя, но закуривал ее дома, в общежитии. Курил на своей продавленной кровати трубку и мечтал когда-нибудь прочитать этому писателю свою поэму о красном комиссаре.

Сегодня выступали поэты. Тут были и наши знаменитости и гости из другого института. Читали по кругу. Все поэты были какие-то особенные — каждый со своим жестом, со своей манерой читать стихи.

Вот сидит в черной кожаной куртке и с черными, чуть косящими глазами, совсем еще мальчишка, но с каким-то не мальчишеским взглядом. Он только что отчитал свои железные строчки и сидит еще не остывший от возбуждения. А вокруг уже повторяют его слова, написанные, может быть, этой ночью.

> Но мы еще дойдем до Ганга!
> Но мы еще умрем в боях!

Потом встает... Мы сразу его узнали, хотя сейчас, зимой, он и одет был и выглядел по-другому. Михаил Галаиза!

Красный шарф, как пламя, закинут за спину, на голове не то кепка, не то шлем с кнопками и застежками. Мы

видим его вполоборота, скошенный взгляд и выступающий вперед крепкий подбородок.

> ...Железные путы
> человек сшибает
> с земшара грудью!
> Только советская нация будет!
> И только советской расы люди!

Поэты читают по кругу. А мы вслед за ними повторяем слова, будто свои, будто нами самими сказанные.

> Чуть брезжил свет в разбитых окнах,
> Вставал заношенный до дыр.
> Как сруб, глухой и душный мир,
> Который был отцами проклят,
> А нами перевернут был...

А вот большеглазый, смотрит на нас огромными своими глазами, не мигая.

> Мир яблоком, созревшим на оконце,
> Казался нам...
> На выпуклых боках —
> Где Родина — там красный цвет от солнца,
> А остальное — зелено пока.

Они все читают, читают уже по второму кругу. Опять этот черный бросает в аудиторию свои железные строчки:

> Косым,
> стремительным углом
> И ветром, режущим глаза,
> Переломившейся ветлой
> на землю падает гроза.

После грозы в мире наступает снова тишина.

> И люди вышли из квартир,
> Устало высохла трава.
> И снова тишь.
> И снова мир.
> Как равнодушье, как овал.
> Я с детства не любил овал,
> Я с детства угол рисовал!

Коля толкает меня локтем в бок, и я начинаю тоже повторять про себя: «Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал!»

Вот, оказывается, мы какие! Вот какие!

Потом поднимается в красноармейской гимнастерке...

Нет, пусть прервется на этом месте повесть, потому что я должен назвать их имена. Они смотрят на меня бессмерт-

иыми своимн глазами, смотрят сквозь далекие годы — лениицы, святые ребята. Оии смотрят иа меия, и я ие могу не иазвать их имен.

«Но мы еще умрем в боях!..» Это тот, в чериой кожаике,— Павел Коган.

А рядом — «сшибает с земшара грудью...». Никакой это ие Галанза. Никакого Галанзы вообще ие было. Это Михаил Кульчицкий.

Потом Всеволод Багрнцкий — поэт и сын поэта, потом Николай Майоров и Коля Отрада.

Они ие пришли с войны.

А жизнь все-таки баловала иас.

Недавио Юдии из Киева, от брата-музыкаита, получил шубу. Тяжелая и старая, зато теплая, на обезьяньем меху н с железной цепью-вешалкой. В лютые морозы мы поочередио ходили в ней за провизней, все остальное время она безраздельио принадлежала счастливому своему владельцу. Немногим раньше Коля получил из Прикумска, от двоюродной сестры, заячью шапку-ушанку. Для Коли, одетого в ветхое пальтишко и доживавшие свой век ботинки с калошками, для него эта заячья благодать была настоящим спасением.

А в мире что-то происходило. Мир ие хотел считаться с намн. Он сворачивал не на ту дорогу, которую мы выбрали для себя. Вчера еще Коля мечтательно курил писательскую трубку и мысли его работали совсем в ином направлении, чем сегодия. Сегодня началась войиа с Финляндией.

Почему война? Оиа совсем ие входила в иаши планы.

Витя поздно пришел с заседаиия, и мы долго, уже погасив свет, говорили о войне. Армия, которой мы не знали и которая жила своей отдельной, неизвестиой иам жизнью, сражалась сейчас на сиежиом Севере с фииками. И нас ие покидало тревожное предчувствие, ожиданне чего-то.

Пошли разговоры о добровольцах.

Путь от Усачевки до Ростокиисого проезда оставался прежиим. По-прежиему могущественной латынью приветствовали мы Николая Альбертовича. Но по шумным иистатутским коридорам и лестницам словно бы гулял иевидимый сквознячок. И даже в те мннуты, когда мы, кажется, забывали о Севере, тревожное ощущение сквознячка не проходило.

Неожиданно исчез иаш комнтетчик Витя Ласточкии. То лн соревнования, то ли лыжные сборы под Москвой. Случилось это как-то внезапно н в полутайне. И от этого тревога наша еще больше уснлилась...

12

Наступнл Новый год.

Больше всех суетилась Марьяна. До этого у иих с Юдиным что-то пронзошло. Как-то вечером открылась дверь и в комиату мрачный, со стопкой кнпг до подбородка, вошел Толя. Подтолкнув его в спниу, Марьяна с сердитой иасмешкой сказала:

— Возьмите своего Юдина,— и, не входя в комиату, захлопнула дверь.

— Поссорилнсь,— буркнул Толя и стал бережно н долго расставлять кнпги, подаренные когда-то Марьяне.

Он стоял спиной к нам, перебнрал томнкн, вроде обнюхивал их, переставляя с места на место. А мы недоуменно смотрели на его ссутулнвшуюся спину. Потом подошел к иему Дрозд, помолчал н с робкнм участием спроснл:

— Что случнлось, Толя?

— Пошел к черту! — огрызиулся тот.

— Сам пойди,— обиделся Лева и вернулся иа свою койку.

Через деиь Юдии уиес со своей полки первую кинжку. А сегодня, опять нагрузив себя до подбородка н плохо скрывая радость, отволок остальпые. Помирились. И хотя Марьяна грубовато подшучивала над Толей, было видпо, что опа ие меиьше его рада замирению. Она покрнкнвала, распоряжалась нами, гоняла по магазииам с авоськами, придиралась к иашим туалетам.

— Боже мой, это же ие галстук, а телячий хвост,— говорила оиа Коле, и тот, краснея и сопя, покорио давал стянуть с себя свалявшийся в косичку галстук.— Вы же опозорите меия перед девочками. Вот вам утюг, сннмайте портки и делайте на ннх стрелку.

И мы сиимали портки и делали иа иих стрелку. Наконец, отутюжеиные, подштопаииые, нагружеииые авоськами, двнну лись мы вслед за Марьяиой. На улице шел сиег. Фоиари были окутаны желтыми облачками, в этих облачках и в снопах света, падавших из окон, копошились мохнатые снежинки.

Марьяна с Юдиным впереди, за ними долговязый Дрозд и, чуть приотстав, мы с Костей.

Опушенные снегом, шагали мы, тихие, послушные, будто везли нас к бабушке на рождество. А где-то в белом ночном переулке в московском доме — мы с Колей еще не бывали в московских домах — ждали нас какие-то девочки, перед которыми мы не должны были опозорить Марьяну.

— Ау, мальчики! — кричала из снегопада Марьяна.

Долго топтались у подъезда, под тусклой лампочкой, отряхивались, стучали ногами о дверной косяк, пока не раздалась команда с лестницы:

— Где вы! Наверх!

Под вопли, восклицания, сорочий смех и трескотню Марьяны, как под шумовым прикрытием, проникли в переднюю, разделись и уже толклись почти в самой комнате, в полумгле которой горела новогодняя елка.

Через мгновение тени, передвигавшиеся в цветном полумраке, обрели видимые очертания. Первым я узнал Телю Полтавского. Он поднялся из мягкого кресла в углу, напротив елки, и направился к нам. Девочки оказались всего-навсего нашими однокурсницами.

— Смотри, Наташка!

— Ну и что?

— Просто так,— ответил Коля и сдавил рукой мое плечо.

Так-то так, но я уже знал, что Коля Терентьев попался. Наташка... Была она тихой, вроде бессловесной, но с чем-то затаенным в глазах. В глазах больших и непонятных.

И все бы это ничего — Наташка и Наташка, кому как покажется. Но вот совсем недавно по дороге из института нагнала нас одна девчонка и, передохнув, очень серьезно и даже печально сообщила:

— Что я тебе хотела сказать, Коля... ты Наташке нравишься. До свидания, ребята.— И убежала к трамваю.

Это была такая минута в Колиной жизни, когда он был от макушки до пяток похож на идиота. А когда лицо его снова сделалось нормальным, он сказал своим вторым голосом: «Глупости!» Сказал: «Глупости!» — и с той минуты стал бояться Наташки...

Марьяна включила большой свет и голосом конферансье объявила:

— Прошу знакомиться! — И первой захохотала.

Ее поддержали другие. Встреча была подготовлена как новогодний сюрприз для ребят. Не знаю, как Коле, а всем

остальным это понравилось. Юдин исподлобья разглядывал однокурсниц, улыбался. Лева Дрозд сиял.

Тут же из кухни была приведена бабушка и представлена нам. Улыбающаяся ситцевая старушка, седая и черноглазая, поздравила всех с Новым годом.

— Как вам понравилась наша елка? — спросила она.

В ответ ей заокало, заукало, замычало наше собрание.

— Наташины папа и мама,— сказала старушка,— празднуют у знакомых, а вы будьте как дома. Ну, ну! — подмигнула она и удалилась.

Наташка кинулась к стене и выключила свет.

— Так лучше,— сказала она горячим шепотом, вернув всех нас в цветной полумрак.

Времени до полуночи было достаточно, и, перед тем как расставить и накрыть столы, начались танцы. Зашипела пластинка, тягуче заныло танго. Все скучились, прижались к стенкам, к мебели, образовав тоскливую пустоту посередине комнаты.

— Ну что же, мальчики! — взмолилась Марьяна.— Юдин, приглашай дам! — приказала она и, подхватив Полтавского, начала танец.

Осмелев, Лева Дрозд пересек пустоту и устремился к Наташке. За ним мелким шажком двинулся Юдин. Мы с Колей, одеревенев, стояли у входа в комнату, усиленно стараясь показать, что нам очень интересно наблюдать за танцующими. Но вот и меня оторвали от дверной шторы и увлекли туда, где, церемонно склонив голову, господствовал над парами и откровенно наслаждался ритмом, музыкой, собой и своей партнершей Наташей Лева Дрозд. На Колином месте я бы немедленно провалился сквозь пол. Но он, бедняга, стойко держался на месте и не проваливался.

Кто-то снял иголку, оборвал танго, чтобы завести его снова. Пока скрипела заводная ручка, пары выжидали в застигнутых позах. Воспользовавшись заминкой, Наташка вывернулась из Левиных рук и выскочила на кухню. Лева, ничуть не смутившись, улыбкой и жестом поднял с кресла новую партнершу и счастливым лицом своим, каждым своим движением доказывал самому себе, что счастье заключается не в партнерше, а в танце.

Через минуту появилась Наташка. Коля обернулся и встретился с ее глазами. В них мерцали елочные огоньки. Наташка чуть подалась вперед и протянула руки. Что же тут оставалось делать Коле? Он глотнул воздуху и взял

эти руки и, бестолково путая ногами, попятился к танцующим, увлекая за собой Наташку. Кое-как он овладел собой, поймал ритм н смешался с другнми. Нет, не смешался. Белая рубашечка его и светлая Наташкниа голова делалн медленные кругн, не смешиваясь с другнми. Наблюдая за нимн, я иикак не мог понять, откуда у него бралнсь силы, чтобы вынести все это н не умереть тут же от какого-нибудь удара. А проклятому танго как будто н не было конца.

Утомленное со-о-лнце
Нежно с морем проща-а-лось...

И кто только выдумал эти танцы! Я уверен, если бы Коля сию минуту узиал этого человека, он дал бы клятву поставить ему памятник. А Наташка? Вот она совсем рядом, н я слышу, как оиа, прнподнявшнсь на носках, говорнт:

— Коля, вы забылн снять калоши...

И какой только черт толкиул ее!

В обычных условнях Коля нн за что бы не пронзиес этого детского «ой»! А тут, будучи застнгнутым врасплох, он сказал «ой» н метнулся поправнть свою оплошность. Каким образом он собнрался осуществнть это, я бы не мог сказать. Дело в том, что Колнны штиблеты самн по себе, без калош, как бы ие существовалн, что подметкн на ннх держалнсь только благодаря этим калошам, которые он «забыл» снять. Тороплнво, бочком протнснулся он к выходу н скрылся в темной прнхожей.

Наташка с ее непоиятными глазамн,— как же она была понятна сейчас всем н каждому! При свете красных, желтых, зелеиых лампочек она перебнрала пластники. Ей, наверное, хотелось найтн что-ннбудь необыкновенное, успеть поставить это необыкновениое перед тем, как Коля вернется и тнхонько тронет ее за плечо.

Вот н завертелась та пластннка, колыхнулнсь н пошли под новую мелодию пары, а Коля не возвращался. Вот и закончнлись танцы, а ои так н ие пришел и не тронул Наташкиного плеча. Я делал вид, что удивлеи вместе со всеми, делал внд, что и сам нщу своего дружка, но мне было ясно, что у него был еднnственный выход — сбежать и он, конечно, воспользовался этнм.

Я быстро иакннул иа себя пальто и шапку н, сказав: «Я мигом», захлопнул за собой дверь: нет, не сидеть нам сегодня с Колей за Наташкнным новогоднн м столом!..

На улице уже не было того мягкого н тнхого снегопада,

было метельно и почти безлюдно. Встретился какой-то чудак с елкой. Пыхтя, он тащил ее на радость семейству своему за какие-нибудь полчаса до той минуты, когда очень много людей сдвинут бокалы, чтобы осушить их во имя новых надежд.

Все-таки грустно не оказаться в ту самую минуту почти со всем человечеством за одним столом, а, накрывшись казенным одеялом, утешаться своей отрешенностью и независимостью. Именно этим самым и занимался Коля Терентьев. Во всяком случае, застал я его лежащим на койке. Он читал со словариком французский текст «Тартарена из Тараскона».

— С Новым годом! — сказал я Коле, войдя в комнату.

Он ответил виноватой ухмылкой и отложил своего «Тартарена».

— А там сейчас вносят столы, бабушка подает всякую еду,— сказал я, вешая на гвоздь пальто и шапку.

— У нас еще все впереди. Наше останется за нами.— Похоже, что Коля бодрился.

— Да,— продолжал я,— а Наташка сейчас...

— Ну ладно тебе,— уже другим голосом перебил он меня.

— Ну ладно, аллах с ними,— сказал я так, будто кто-то в чем-то был виноват перед нами.

Может, час, а может, и два прошло, как и я по примеру Коли, отвергнув новогоднюю ночь, повесил на спинку стула брюки с никому теперь не нужными стрелками и улегся в постель. Изредка обмениваясь случайными словами, мы читали и думали каждый свое. И вдруг приотворилась дверь, и сначала показалась голова, а за ней и весь человек — странный, обледенелый, увешанный ледяшками. Видно, долго шел он под снегом, а поднимаясь по лестнице на шестой этаж, стал оттаивать, и тающий снег повис ледяными комочками на ворсинках лыжного костюма и вязаного шлема.

— Витя! — в один голос воскликнули мы после минутной немоты и удивления.

И хотя, страшно обрадованные, мы весело кричали, суетливо одевались и обнимали холодного, ледяного Витьку, а он, довольный и заметно смущенный, улыбался, было во всем этом что-то тревожное и даже жутковатое. Витя Ласточкин — и этот костюм, перехваченный солдатским ремнем, и этот шлем, и эта новогодняя ночь! Мы шумели:

— Какой ты! Прямо совсем не такой. Ну просто не узнать!

Предлагали раздеться, а он отбивался:

— Да нет, ребята, я на минутку.

И все это время где-то под спудом, на самой глубине, немо стояло слово «война». И сам Витя — вроде вот он, можно потрогать, обнять, и в то же время он уже не здесь, а там где-то, за снежными ночами, на войне. И это подспудное одержало верх и заставило нас притихнуть, посерьезнеть.

— Я на минуту, попрощаться,— повторил Витя, грустно улыбнувшись.— К пяти надо быть в эшелоне.

— А как же мы? — спросил Коля.

— Знаете, ребята, не всем же ехать,— туманно объяснил Витя.— Ух ты, наследил я вам,— сказал он, размазывая тяжелыми ботинками лужицу под ногами.

Потом оглядел нашу комнату и, спохватившись, спросил:

— А где же Юдин, Дрозд? На елке? Ну, привет им.

— Витя, ты даже не старшекурсник. Ну, Зиновий Блюмберг. Он — старше. А как же ты?..— настойчиво допытывался Коля.

— Ну, я...— он сделал паузу,— я как член вузкома.— Витя старался и говорить и вообще держаться как можно скромнее, обычнее, но это у него не получалось. Значительность и необычность положения, в котором он находился, переполняли его чувством достоинства и радости. И он не мог скрыть от нас этого...— Вы знаете, хлопцы, мне просто повезло. Ребята поддержали,— признался он с таким видом, словно получил неожиданное поощрение. Мы собрались и вышли вместе. Бушевала метель. Пробиваясь сквозь снежный ветер, мы проводили Витю до трамвайной линии. Было уже поздно, трамваи не ходили. Он посмотрел вдоль белой улицы на мутные фонари, вокруг которых завивалась кольцами вьюга, и сказал:

— Да, действительно... Ну, хлопцы, я пошел.

— Не заблудись, Витя! — крикнул я вдогонку.

И, уже почти неразличимый, он отозвался:

— Что вы, ребята. Я же солдат!

Сначала мы стояли заносимые снегом. Потом долго-долго шли домой.

— Скажи, а могут убить Витьку? — спросил Коля.

— Не знаю,— ответил я.

Потом опять шли молча. Потом Коля сказал:

— Какая подлость!
— О чем ты?
Но он продолжал свое:
— Как это подло — умереть! Это невозможно!

13

Нет, Коля. К сожалению, это возможно,— говорю я теперь, двадцать лет спустя. И ты в эту минуту не можешь ни возразить мне, ни согласиться со мной. Я смотрю на твою маленькую фотографию со студенческого билета, и все кажется мне, что вот раздастся звонок и мой сын радостно объявит:

— Папа, дядя Коля пришел!

Да какой же он дядя? Каштановая челка, как у моего Сашка, уши торчат в стороны, как самоварные ручки...

Дядя Коля... Я-то уж привык к «дяде», давно привык. Но дядей Колей... тебя? Не могу. Не получается.

Я сижу сейчас за письменным столом. Передо мной... Помнишь снежное поле под Малоярославцем?.. Так вот, передо мной, как то снежное поле,— белый лист бумаги. Я сижу перед ним и думаю и пишу. А за окном течет река жизни. Я пишу о том, что было когда-то и чего никогда уже не будет. И чем больше я сижу у этого снежного поля, тем чаще мне кажется, что вот-вот откроется дверь и ко мне войдешь ты. Но войдешь, конечно, не дядей, а тонкошеим парнишкой с теплыми своими глазами. Войдешь и скажешь:

— Что с тобой? Ведь я бы мог и не узнать тебя, ты же совсем седой! Может, пережил что?

— Да нет,— отвечу,— ничего особенного. Просто давно не виделись, двадцать лет. А ты все такой же. Мальчишка. Хотя что ж удивляться — die Toten bleiben jung...[1]

— А это уж как водится,— ответишь ты и улыбнешься милой своей улыбкой.

И я начну рассказывать тебе о последних новостях, о спутниках, космонавтах, об атомных бомбах, о Наташке... Изредка мы встречаемся с ней. А недавно даже были в одной поездке. Она давно меня просила об этом. Потом покажу тебе из окна одиннадцатого этажа — я живу на Ленинских горах в большом четырнадцатиэтажном доме,— покажу тебе нашу Москву. Отсюда она как из кристаллов

[1] Мертвые остаются молодыми... (*нем.*)

сложеиа — такая игрушечиая, и огромная. По ее камениым кубикам мягко скользят тени, а белые высотные здания омыты солицем и кажутся иевесомымн...

И когда пройдет вся эта чертовщииа, я опять подумаю: да как же оин посмели убить тебя, гады!..

А за окном течет река жнзнн. Когда мне иужно, я остаиавливаю ее. Я ее остаиавливаю, и вот мы идем уже из иашего иистнтута — я, Коля и Наташка. Наташка теперь всегда ходит вместе с иамн. После иовогодией иепрнятности оии как-то сумели встретиться н... однпм словом, оиа всегда теперь ходит вместе с иами. Наташка, я и Коля идем цепочкой между осевшнмн сугробами. Тропиика подтаяла, хлюпает, солице слепнт — иельзя глядеть, с крыш ростокинских теремков падают каплн, блестят оконные стекла. Вообще-то уже пора. Начало апреля. Правда, Коля еще в шапке, в той, в заячьей. Не потому, что холодио, а потому, что ему нравится. А у Наташкн иа голове — инчего. У нее очень красивые, почти желтые волосы. Они рассыпаются по воротиичку ее коротенькой белой шубки. Наташка не такая уж тихая. Оиа веселая н даже легкомыслеииая. Коля, конечио, уже ие бонтся ее. Вообще ои у иас самый счастливый человек. Правда, Юдии тоже. Но они с Марьяной очень уж часто ссорятся. Юдин только н знает, что перетаскивает кннгн то от Марьяны, то к Марьяне.

И вот мы прнходнм домой, а там нас ожидает новость — письмо от Вити Ласточкииа. Первое письмо. Оно переходит нз рук в руки, мы ощупываем его, смотрим иа свет, не решаясь вскрыть. А потом решаем: когда соберутся все, откроем и прочитаем вслух.

Пришли ребята — Юдни и Лева Дрозд. Мы чиино расселись по своим койкам, и я предложнл Коле вскрыть конверт и прочнтать пнсьмо. Я предложил Коле, потому что ои обязательно будет чнтать своим вторым голосом. А этот его голос всегда меня страшио как-то трогает. Да н пнсьмо как раз такое, что его надо читать вторым голосом, то есть не иашим обычным. Коля осторожно распечатал коиверт, развериул сложеииые вдвое страннчки — а страиичек было много — и иачал было про себя читать, пробегать глазами первые строчки. Тогда Юдни сказал:

— Ты, Тереитьев, давай вслух. Договорились же вслух читать.

И Коля иачал читать вслух.

— «Ребята»,— прочитал ои.

И так это он прочитал, что прямо за душу взяло. Я же точно знал, что так оно и будет. А Коля переглянулся с нами и начал снова читать, и уже больше не переглядывался и не останавливался:

— «Ребята, здравствуйте! Пишу вам своей рукой. Раньше я не мог писать, руки у меня не могли держать карандаш и даже ложку. Это бывает, когда обмороженность второй степени. Но сначала я хотел написать, что убили Зиновия Блюмберга. Это точно, потому что он умер у меня на руках. Но я вам напишу все сначала».

— Ты подожди,— сказал Юдин.— Ты это снова прочитай.

Что такое?.. Как можно убить Зиновия Блюмберга?! Зиновий очень хороший человек. Сначала он показался нам странным и грубым. Но оказалось, что это все чепуха. На него ведь никто не обижался. Вот он встретит тебя, остановит, ткнет тебя в лоб своим толстым пальцем и скажет: «Ну как, дубье, дел-ла?» — «Ничего»,— говоришь. И если не обижаешься, начинается душевный разговор. Одной девчонке — Светлана, такая маленькая, голубоглазая и очень красивая,— так ей он сказал однажды просто ужасное. Она из читальни шла с книжками, а навстречу по этому же коридору шел Зиновий. Они остановились друг перед другом. Светлана подняла на Блюмберга голубые глаза. А он, нависая сверху башкой своей, вдруг очень выразительно — он всегда смаковал каждое слово,— выразительно, веско так и говорит:

— Света, в твоих гл-лазах окаменел разврат.

Но Света ничуть не обиделась, она даже назвала его Зиной. Она улыбнулась и ответила:

— Ты, Зина, просто дурак.

— Ну вот,— сказал Зина,— уже и оскорбления начались.— А сам, представьте себе, покраснел и смешался как-то...

Я все думал, думал о Блюмберге и так и не мог понять, что его можно убить, что он уже убитый. Никак не мог понять.

А Коля уже читал дальше:

— «Знаете, ребята, после того, как вы меня проводили, я попал в Подольск. Полмесяца там жили, обучались. Хлопцы были разные — рабочие, студенты, больше молодые, но были и постарше нас. Особенно Силкин — московский рабочий, крепкий такой, простой и как родной отец. Понимал нас, мальцов. Особенно студентов. Он нас обучал всему —

и на лыжах ходить, и портянки заворачивать, и костер разводить. Он все умел. А Зиновий меня все ругал. «Думал, говорит, ты умный хлопец, а ты глуп, как пень. Куда идешь? Зачем? Ты и не жил еще, защищать тебе нечего».— «А ты жил?» — спрашиваю у него. «Я, говорит, другое дело». Вы же знаете его.

В Подольске выдали нам белые ватники и ватные штаны, тоже белые, и еще чесанки с калошами. Чесанки — это безобразие, конечно. Они же тонкие. Тут и другие непорядки были. Ну вот. Из Подольска в теплушках двинули дальше, на Ленинград, вернее, в сторону немного — на Волхов. А потом на север, север, север — прямо в Карелию. Вот где, ребята, зима — действительно! Выйдешь — ноздри смерзаются. В общем, доехали до станции Кочкома. Отсюда уже на машинах до Ребол. Может, слыхали? Ребольское направление. Так это здесь. Тут ночевали в землянках. Наутро снова на машины — и дальше, через границу, на финскую землю. Тут, уже на финской земле, поставили нас на лыжи. Это возле деревни Хилики-первые, а может, Хилики-вторые — не помню точно. Наш добровольческий батальон и еще рота кадровиков пошли на Хилики-третьи выручать окруженную дивизию. Суток трое или четверо шли. Леса мачтовые, глухие. Озера под снегом, сопки. А морозы, наверно, градусов двести ниже нуля. Выдали сухой паек и водку. Кто начал пить водку, замерз в дороге. Хорошо, мы были с Силкиным. Он не велел пить в дороге, только руки растирали. Ночью костров жечь нельзя. Представляете, меховые варежки изнутри начали смерзаться и уже не грели, а наоборот. Когда идешь — мокрый, остановился на привал — начинаешь леденеть. Да, первого убитого увидели возле одного озера, прямо сбоку лыжни. Он лежал кверху лицом — лицо белое, даже серое, одет он был, как и мы, в белую ватную стеганку и в белые ватные штаны, и шлем, как у нас, вязаный. Жутко. Мы идем, а он остался лежать — абсолютно такой же, как мы. А потом возле сопки одной, в лесу, устроили дневной привал. Костры развели. Снег топили в котелках, чаем согрелись. Часа через полтора подъем. Комбат поднял руку и крикнул: «Становись!» И тут же упал. Где-то в соснах «кукушки» финские. Хлопнул выстрел — и комбата наповал. Главное, только команду крикнул, и сразу убили. Ошибка наша, что крупными отрядами ходили, финны — мелкими группками. Комбата в снегу похоронили. Снег очень глубокий был. И все идем, идем. Никто не знает куда. Командование, наверно, знало.

А мы-то шли и не знали, куда шли. Где эти проклятые Хилики-третьи?

Опять ночь. Тени какие-то на лыжах носятся, стреляют где-то. Ничего не поймешь. Поднимаемся на высокую сопку, разбрелись мелкими группами. Я все держусь ближе к Силкину. А Зиновий пыхтит рядом. Ему тяжело — он же грузный и вообще неприспособленный. И все ругает меня. «Раз уж пошел, говорит, держись рядом, а то подстрелят, дурака, и помочь некому. Будешь валяться, как тот, у озера...» Ну вот, поднимаемся на сопку, темно, стреляют где-то. Вдруг Зиновий двинул меня в спину и зашипел: «Ложись!» Впереди тоже легли. Прислушались, вгляделись в темноту. Какие-то тени впереди, нам наперерез. Стали стрелять. Постреляли, потом все стихло. И тени пропали. Опять пошли. Когда поднялись на сопку, пули начали вжикать. Зиновий говорит: «Ты не забегай вперед, а то башку свернут». И сам вышел вперед. Потом залегли и начали стрелять. Силкин справа где-то подал команду: «Пошли, ребята!» Стали подниматься. Я тронул Зиновия прикладом. «Пошли»,— говорю. А он молчит. Перевернул его, наклонился, а он смотрит и вроде улыбается. Губы у него замерзли, и он еле-еле выговорил несколько слов. «Ты, говорит, от Силкина не отставай. А я останусь... Навсегда, браток, останусь». Я ему говорю: «Не дури, Зиновий». И вдруг как крикну: «Силкин!» Силкин вернулся, потормошил Зиновия, ухом приложился. «Готов»,— говорит. Признаюсь вам, хлопцы, затрясся я весь и заревел навзрыд. Даже маленьким так не ревел. Силкин обнял меня, успокаивает. А я не могу остановить себя. Тогда он грубо скомандовал: «Ласточкин, прекратить, черт возьми! За мной!» Я перестал трястись и спрашиваю: «Как же он, Зиновий?» — «Утром подберем,— сказал Силкин. И опять скомандовал: — За мной!» Пошли мы. Я все оглядывался, но ничего уже не было видно.

Утром действительно стали собирать убитых и замерзших. Половина батальона пропала. Зарыли в могилу. Мы с Силкиным подобрали Зиновия и положили рядом с другими.

Потом еще день шли и еще ночь. Шли стреляли, костры стали даже ночью палить. Замерзать многие начали. Но все потом у меня было пополам с бредом. Видения начались какие-то. Не помню, выручили дивизию или нет. Ничего не помню, даже как обратно добрались — тоже не помню. Только помню, что один раз хотел стянуть чесанки,

чтобы ноги спиртом протереть. И не мог стянуть, примерзли. Безобразие, что нам выдали чесанки. И еще помню, как Силкин потребовал у меня томик Маяковского — костер разжечь. Я не давал. А он требовал. «Сейчас, говорит, тепло важней, чем стихи». И я отдал. Раньше я думал, что стихи всегда важней. А тут вышло наоборот. Важней костер. А вот кадровиков мало погибло. Они умели воевать, хоть у них и одежда была не маскировочная, как у нас, а темная. Все дело в умении.

В Хилнках-первых мы сели в теплушки. Я часто терял сознание. Привезли в Киров, в госпиталь. Оказалось, что руки у меня обморожены по второй степени, а ноги — по третьей. Руками долго не мог держать ложку. Теперь уже могу. И вот даже пишу. А ноги мои, наверно, отрежут. Пальцы на ногах синие были, теперь чернеют. Врачи говорят — мокрая гангрена. Переводят ее в сухую, мазью какой-то мажут. Видно, оттяпут ноги. Черт с ними, думаю, с ногами. Меня тут один выздоравливающий берет на руки и к окну подносит. Солнце, тает все, весна начинается. Красиво за Вяткой-рекой. Письмо писал пять дней. И вроде с вами был все время.

Обнимаю. До скорой встречи.

Виктор».

И еще была приписка к письму:

«Ребята! Не успел отправить, помешала операция. Оказывается, гангрена уже перешла в сухую, пальцы стали черные и сухие, и можно делать операцию. Отрезали, в общем, у меня ноги. Не целиком, конечно, а только с обеих ног по полступни. В общем, ходить можно, а жить — тем более!

До встречи.

В. Ласточкин».

14

Коля дочитал письмо и сказал:

— Все.

Мы вскочили со своих мест, разом заговорили. Письмо пошло от одного к другому. Каждый еще раз прочитал его про себя. Потом стали обсуждать, что бы такое сделать. Ведь нельзя же было прочитать это письмо и ничего такого не сделать. Сначала мы подумали ехать в Киров, к Виктору. Взяли карту, посмотрели маршрут, узнали, с какого вокзала выезжать, и уже наметили день отъезда, и тут

кто-то вспомнил, что у нас не хватит денег даже для одного человека, даже на один билет. Тогда мы отменили поездку. Решили послать посылку. Получим стипендию и на все деньги соберем посылку, а сами проживем как-нибудь, найдем работу и проживем. Но когда начали думать, что послать, то, кроме шоколада, апельсинов и папирос, ничего не могли придумать.

Толя Юдин сходил за Марьяной. Она пришла не такая трескучая — она понимала обстановку и была деловита. Молча прочитала письмо и очень серьезно сказала:

— Вы теперь понимаете, мальчики, почему я люблю Юдина? Потому что все вы, такие, как Витя, по-разному как Витя. В нем,— она все время смотрела на Толю,— я люблю всех вас.— Марьяна нагнула Толину голову и поцеловала его в макушку.— А теперь я скажу, что вы должны купить. Нет, куплю я все сама. Апельсины, шоколад, папиросы — это хорошо. К этому надо еще вино. Без вина он не поправится. Это я знаю, у меня мама врач. Дальше — теплое белье: весна там холодная, а он скоро выходить будет на улицу. Так? Свитер шерстяной, платки носовые. В один ящик все не войдет. Надо апельсинов побольше. Пошлем в два приема. Договорились?

Марьяна ушла. Вслед за ней надел свою шубу на обезьяньем меху и, не говоря ни слова, выскочил Юдин. Это была его привычка. Он всегда исчезал как-то молча. Даже по дороге в институт он умел незаметно отделиться от нас и исчезнуть. Потом скажет: был в поликлинике или у букинистов.

Вечером, уже в восьмом часу, мы вышли пройтись по нашей Усачевской улице и столкнулись с Юдиным. Он быстро, как иноходец, притрухивал по мостовой. Мы бы не узнали его в сумерках, но он сам наскочил на нас. Воротник пиджака у него был поднят, а шубы совсем не было на нем. Вечер был холодный, по-весеннему ветреный, поэтому Юдин и бежал, как иноходец. На молчаливый наш вопрос он ответил:

— Не подумайте, я не продал ее. В ломбард заложил. Всегда можно выкупить.— Только Юдин, вечно рыскавший по городу со своим таинственным глазом, мог знать, что в Москве кроме букинистов есть еще и ломбарды. Мы, конечно, поняли, зачем он это сделал. До стипендии еще неделя, а первую посылку можно отправить и раньше. Коля взял Юдина за пуговицу и спросил:

— А шапку нельзя?

— За нее мало дадут,— ответил Юдин. Потом мягко так извинился: — Ты извини, Коля. Я подумал вместе поехать, но боялся опоздать.— Это он соврал, конечно, потому что любил делать все втихомолку и в одиночку.

— Ничего, что мало дадут. Лишь бы взяли, — возразил Коля.

Тогда Юдин уже сказал все.

— Насчет шапки,— я, между прочим, говорил. Если хочешь, завтра забежим.

— Ну, спасибо. Обязательно забежим,— обрадовался Коля и отпустил пуговицу.

15

Гордость нашей комнаты — шуба на железной цепи и заячья шапка лежали в ломбарде. Вырученные деньги — за шубу двести рублей, за шапку двадцать — были переданы Марьяне. И сразу же после занятий мы отправились в Химки, на речную пристань.

Нас просто преследовали удачи. Как только мы явились на пристань, подошла баржа, чем-то нагруженная. Оказалось, посудой. Тарелками. И нас взяли на разгрузку. Нам было все равно, что разгружать, лишь бы заработать денег, но, конечно, тарелки лучше, чем уголь, например, или цемент. Компания подобралась подходящая. Были еще студенты какие-то и вообще случайные люди. Один только оказался профессионалом, кадровым грузчиком. Поняли это, когда расставили нас цепочкой и начали передавать из рук в руки тарелки — с баржи на берег. Не успели как следует освоить дело, как тот самый человек — он был полусонным, небритым, в замызганном ватнике — вяло скомандовал: «Пе-ре-ку-ур!» И вышел из цепи. И мы сразу поняли, что это профессионал. Нам не хотелось устраивать перекур, но тот человек уже сидел на каком-то бревне и сворачивал цигарку. Пришлось и нам закурить. Даже Юдин, который вообще не курил, попросил папиросу. Пока мы выгружали баржу, этот человек издергал нас своими перекурами. Но все равно нам работа понравилась. К концу мы уже так наловчились, что почти бросали друг другу тарелки и почти на лету их ловили. Все же это работа. Когда мы возвращались домой, я заметил, что не только я, но и Коля, и Юдин, и Дрозд — и они полны самоуважения. Странно как-то: ведь тарелки — это не Фергана и тем бо-

лее не война с белофиннами, а вот уважаешь себя после этих тарелок, и все.

На другой день сгружали какие-то ящики. Так и не узнали, с чем они. Потом сгружали и уголь, и цемент, тяжелые мешки с цементом, и кирпич. Мы работали до самого праздника до Первого мая. И заработали по двести рублей. Получили стипендию, и у нас образовалось очень много денег. Шубу и шапку, правда, выкупать не стали. Зато отправили Вите две посылки, а Коле купили новые туфли на резиновой подошве. И еще устроили праздник — у Наташки. Но сначала были на демонстрации. Лично я и Коля — первый раз в жизни. Вообще, как только мы приехали в Москву, все время что-нибудь видели и что-нибудь делали первый раз в жизни. Мы с Колей не только первый раз были на демонстрации, но и первый раз в жизни видели столько людей. Море людей! Когда они выходили колоннами со всех улиц и сливались на площади в одно море и над их головами все цвело и светилось зеленым и красным — зеленым от веточек, красным от знамен,— когда, в общем, мы все это увидели, я понял, что демонстрация была для нас таким зрелищем, которое не с чем и сравнивать.

Нам очень бы хотелось увидеть Витю Ласточкина и Зиновня на демонстрации. Но их не было. Мы это понимали, чувствовали и все-таки были — счастливы. Мы были так счастливы, что вечером у Наташки здорово напились. Девочки пили вино, а мы пили водку. Коля был в новых ботинках, танцевал с Наташкой и даже пел. Первый раз он пел в Москве. И только теперь все мы узнали, как он здорово поет. А потом Коля, как равный с равным, долго беседовал с Наташкиным отцом. Наташкин отец был крупный мужчина, седой, с одышкой. Он сидел в кресле, все время гладил ладонью грудь — против сердца — и немного устало, но с уважением беседовал с Колей. Я смотрел на седого крупного человека и на Колю с маленьким круглым подбородком и тонкой шеей и не мог понять, почему мне так хорошо и радостно смотреть на этих беседующих мужчин.

Марьяна осталась ночевать у Наташки. А мы ушли домой. Но мы не сразу ушли домой, а стали гулять по Усачевской улице. Ночь показалась нам теплой, и мы очень громко разговаривали, потому что выпили много водки. Спать совсем не хотелось. Хотелось еще сделать что-нибудь, совершить какой-нибудь выдающийся поступок. И

тут у Юдина родилась идея. Он считался самым умным среди нас и самым начитанным, и поэтому к нему первому пришла идея.

— Знаете что,— сказал он,— пошли купаться на Москву-реку.

Предложение показалось нам замечательным. Во-первых, был праздник, Первое мая, во-вторых, был уже третий час ночи, и, в-третьих, всем нам хотелось действовать. Мы свернули к Новодевичьему монастырю, обошли его темные молчаливые стены и вышли на берег Москвы-реки. Быстро разделись и стали спускаться в черную воду. Мы спускались молча, держась за трещины и выступы, а когда вошли в воду, начали шуметь, визжать, как девчонки. Отплыли совсем немного — все же страшновато было — и вернулись обратно. Потом Лева Дрозд наклонился над водой, сложил рупором ладони и заорал:

— Ле-е-на-а! — И еще раз: — Ле-е-на-а!

Здесь же в реке, дрожа от холода, мы выслушали рассказ о первой любви. Лева Дрозд, оказывается, любил какую-то Лену, которая жила в Тамбове и не отвечала на его письма. Он попросил нас покричать хором. И мы начали кричать хором:

— Ле-е-на-а-а! Ле-е-на-а-а!

И рев наш перекатывался по черной, слабо отсвечивавшей под звездным небом реке, натыкался на невидимый во тьме берег, и где-то далеко внизу, куда текла река, отзывалось слабое эхо. Орали мы так вдохновенно, что долго не могли услышать человека, который кричал на нас с высокого берега, где лежала наша одежда. Когда мы обернулись, то сразу увидели на фоне звездного неба черный силуэт человека с винтовкой и отчетливо услышали его голос.

— Эй, вы! Какого черта разорались-то? — кричал он с раздражением.— А ну-ка, немедленно выходите!

На четвереньках мы выкарабкались на берег и голышом предстали перед красноармейцем. Он был в шинели, туго перетянутой ремнем, а мы — голые. Он ругался, а мы старались не стучать зубами и смотрели на холодно мерцавший штык, тоненько оканчивавшийся у самого уха красноармейца.

— Вы что, не соображаете? Вы что, не видите? — кричал он и показывал в сторону темной арки железнодорожного моста.— Это что, по-вашему?

— М-мост,— ответил кто-то из нас.

— Не мост, а объект военного значения.— И когда мы уже окончательно замерзли, он скомандовал: — Пошли!

Зачем же идти, спрашивали мы, разве мы не имеем права искупаться на праздник?

Но часовой был неумолим.

— Пошли,— сказал он,— разберемся.

Оказывается, он вел нас к фонарю. Захватив в охапку одежду, не разбираясь, где чья, пошли к фонарю. Там часовой потребовал документы. Нам бы, наверное, плохо пришлось, если бы у кого-то в штанах, которые мы стали судорожно перебирать, не нашли чей-то студенческий билет. Подали его часовому. Он начал внимательно разглядывать документ, а мы увидели, что часовой был таким же пареньком, как и мы. Он прочитал в билете все, что нужно, и грустно вздохнул.

— Студенты первого курса,— сказал он как бы про себя.— А вот я не прошел. И сразу в армию.

— В какой сдавали? — спросил Юдин.

— В Бауманский,— ответил он жалобно и махнул рукой. А потом совсем не по-красноармейски, а как-то помальчишески спросил: — Сколько человек на место?

— Три.

— Вам повезло. А у нас было пять человек... Да вы одевайтесь, ребята.

Мы стали одеваться. Хмель у нас уже прошел, потому что нам очень жаль стало красноармейца. Хотели еще поговорить с ним, посоветовать на заочный подать, а когда отслужит срок, перейти на очный. Но он сказал, что ему надо на пост, попрощался с нами за руку и ушел, и тоненький штык слабо мерцал у него над головой.

Почти у самого общежития мы уже совсем согрелись от ходьбы и от разговоров. Страшно любивший обобщения и всякие значительные слова, Коля остановил нас у подъезда и сказал:

— Наша молодость уже ходит в шинели.

— Это грустно,— отозвался Дрозд.

— Ты дурак, Лева,— буркнул Юдин и открыл тяжелую дверь.

16

А теперь я должен многое пропустить. И как сдавали экзамены, а потом разъехались по домам — мы с Колей уехали в наш Прикумск, к моим родителям; и как верну-

лись снова в Москву уже второкурсниками; и даже то, как осенью встречали нашего Витю. Он поправился и ходил в особых, специально сшитых ботинках. Ходил, переваливаясь с боку на бок, будто точки все время ставил. И мы по этой новой походке могли узнать его хоть за сто километров. Пропускаю любовь — особенно Колину и Наташкину. И многое другое. Все это стало мне вдруг неинтересным. До этого было интересно, а теперь вот что-то стало мешать. Хочу рассказывать дальше, а что-то мешает. А мешает я знаю что. Война. Правда, начнется она через год, но уже сейчас мешает, не дает рассказывать дальше. Стоит впереди, и все время я ее вижу и ни о чем больше думать не могу...

А началось все очень просто. Мы жили уже в другом месте, в студенческом городке, недалеко от института. Окна комнаты выходили во двор. Посередине двора стояла маленькая часовенка — часовенкой она была когда-то, когда жили здесь то ли монахини, то ли престарелые вдовы, а теперь она была складом нашего имущества. Вокруг этой складской часовенки — асфальтовое кольцо; от него во все четыре стороны расходились асфальтовые дорожки и аллейки, уставленные теми ребристыми скамейками, которые служат для отдыха москвичам во всех скверах и на всех бульварах столицы. И над этими аллейками, скамьями, клумбами и газонами мягко шумели вековые липы и клены, нависавшие тяжелыми кронами над крышей нашего трехэтажного здания. Здание, ломаясь, в четырех углах, опоясывало двор со всех сторон.

В тот день — вы знаете, о каком я говорю дне,— мы проснулись рано-рано. Мы проснулись потому, что окна всю ночь были открыты, и нас разбудил влажный шелест клена — он протягивал зеленые лапы свои прямо к нашим окнам. Клен шелестел листьями так влажно и так сладко, будто ручей плескался под окном. И капли стекали по листьям и шлепались об листья,— видно, ночью выпал небольшой дождик. И от всего этого мы проснулись очень рано. Над клумбами и газонами, над асфальтом и травами стоял чуть заметный утренний дымок. Солнце еще не было видно, а земля уже парила, курилась синеватым дымком. В субботу мы сдали очередной экзамен и сегодня собирались с утра куда-нибудь поехать. В Останкинский музей или еще куда-нибудь, пока не решили. Умывшись, всей комнатой мы зашли к Марьяне. Девочки занимались своими туалетами, Юдин сидел у окна и слушал музыку. Марь-

яна в пестром халатике, с полотенцем на плече вышла из комнаты. Мы тоже стали слушать музыку. Кто-то пел арию из «Искателей жемчуга». Я смотрел в окно, которое выходило в тупичок под названием Матросская тишина, и слушал эту арию.

Вот так было за минуту до того, как смолкла ария из «Искателей жемчуга», и после небольшой паузы мы услышали тяжелый голос диктора. Еще не осмыслив того, о чем сообщал он, мы столпились у репродуктора и, ничего не понимая, растерянно смотрели в одну черную точку.

Солнце заливало комнату, а из репродуктора тяжело падали на нас страшные слова.

На рассвете, в то время, когда, наверное, уже кончился короткий дождик, и клен под нашим окном влажно шелестел листьями, и мы еще не проснулись, враг переступил границу и бомбы уже падали на Киев, где жил брат Толи Юдина, на Минск и другие города.

Шумно вошла с умытым, сияющим лицом Марьяна.

— Мальчики! — воскликнула она и осеклась. Застыла на месте с полотенцем в руках. Потом из остановившихся глаз ее быстро-быстро начали выступать слезы. Марьяна покорно смахнула их и сразу стала совсем другой. Она тихо повесила полотенце, положила на этажерку мыльницу, зубную щетку и пасту. Она делала это не спеша, обстоятельно, словно сейчас это было самой главной ее заботой. Так вешают полотенца и кладут мыльницы и зубные щетки на этажерку, когда в доме лежит покойник.

Радио наконец затихло. Ребята молчали. Полупричесанные девочки тоже молчали. У меня противно как-то ныло в коленях. Мне захотелось почему-то сесть не на стул, а прямо тут, где стоял,— сесть на пол. Но я не садился, и от этого было просто невыносимо. И я стал ходить туда-сюда по комнате. Тогда зашевелились остальные, задвигались. И первым заговорил Витя Ласточкин.

— Вот так,— сказал он и начал тереть ладонью лоб.

А потом уже сказала Марьяна.

— Ну что ж, мальчики,— сказала она покорно,— пойдем воевать...

Юдин грустно усмехнулся:

— Ты?

— А что?

Подошел Коля и одной рукой обнял меня за плечи. Он ничего не сказал, но я все понял: раз уж началась война, будем воевать.

— Надо ехать в институт,— сказал Витя Ласточкин.

И мы беспрекословно ему подчинились, поехали в институт.

Представьте себе, не одни мы догадались, что надо ехать в институт. Там уже было много студентов, несмотря на выходной день. И когда в институтском дворе, в коридорах, на лестницах собралось много народу, нам перестало быть страшно. Мы шумели и толкались вместе со всеми, обсуждали разные вопросы, бегали зачем-то со двора в здание, а из здания снова во двор, и нам уже совсем было не страшно. Заседал комитет комсомола вместе с нашими партийными руководителями, а мы ждали, что будем делать дальше. Мы ждали, волновались и поэтому много шумели и много бегали без всякого толку. И только когда закончилось заседание комитета, вся наша беготня и суета приобрела определенный смысл и деловое направление. По курсам стали записывать добровольцев.

На нашем курсе список вел Витя. Он сел за стол в небольшой аудитории. Под номером первым он записал себя — Ласточкин Виктор Кириллович. Потом поднял глаза на толпившихся возле него ребят. Я поразился: у него было взрослое лицо, взрослое и строгое. Он уже побывал на одной войне. Но Витя, наверное, и не подумал, что из него уже не получится солдат — ведь у него не было ступней. Однако он старательно вывел свою фамилию под номером первым и поднял глаза на ребят.

Когда подошла наша очередь, я наклонился над столом и так, чтобы слышал только Витя, сказал ему:

— Витя, надо записать Колю, но ведь он же исключенный и вообще... как тут быть?

— А может, он не хочет? — сказал Витя и посмотрел на Колю. Но тот ничего не ответил, потому что у него неожиданно дрогнули губы и их как бы свело на минуту. — Ладно, Николай, беру это дело на себя! — И вписал Колину фамилию: Терентьев Николай Иванович.

В этот же день списки добровольцев отвезли в военкомат. Витя передал нам слова военкома: «Ждите, когда понадобитесь, вызовем».

И мы стали ждать.

17

Страшным было то воскресенье. Оно было последним днем мира: казалось, что улицы, магазины, метро, трамваи, солнце по-прежнему оставались такими же, как и

всегда. Но это только казалось: уже шел первый день войны. Все мирное быстро становилось военным — и Москва и ее люди.

Из общежития нас расселили по школам. Студенческий городок готовили для госпиталя.

Мы работали на заводе — рыли котлованы под новые цехи. Работали по двенадцати часов в сутки, но жили не этим, а сводками с фронта. Жили от сводки до сводки и ждали вызова. Ночью дежурили на крыше девятиэтажной школы. После первого налета бомбардировщиков стали дежурить на чердаках.

Потом налеты участились. Однажды мы возвращались с работы и не успели пройти наш переулок, как завыли сирены и вдруг за спиной у нас так хрястнуло, что мы попадали на брусчатку. Я подумал, что уже убит. Но оказалось, что нет. Да, подумал я тогда, надо скорее идти на фронт. В нашей школе не хватало коек, и мы спали, когда не дежурили на чердаке, прямо на полу. В углу, на одном матрасе, спали Юдин и Марьяна, как муж и жена. Раньше бы мы удивились этому, а теперь нам это даже нравилось.

В ту ночь, когда я подумал, что меня убили, Коля придвинулся ко мне и начал нашептывать.

— Наверное,— говорил он,— про нас забыли в военкомате. Войска отступают, а мы тут роем котлованы. Рыть могут и другие, женщины. Надо сходить в военкомат и узнать.

Коля похудел, лицо у него заострилось, на верхней губе образовался густой пушок, почти усы. И Наташки в Москве не было. Наташка была на окопах. Где-то под Москвой рыли противотанковые траншеи.

Перед отъездом Наташка забежала к нам попрощаться с Колей — в белой кофточке и лыжных брюках и с рюкзаком. Первый раз она никого не стеснялась и так плакала, так целовала Колю, что я подождал немного, а потом ушел в коридор.

Мы посоветовались с Витей и на другой день, после ночной смены, поехали в военкомат. С нами не было только Левы Дрозда. Он почувствовал себя плохо, и мы отпустили его домой.

В военкомате битком набито народу. Почти полдня пришлось ждать. Но мы все же попали к начальнику. Он не только не поздоровался с нами или хотя бы пригласил сесть, он прямо заорал на нас.

— Не могу же я триста раз, говорить одно и то же,— кричал он, разводя руками.— Есть же, черт возьми, порядок какой-то! Или нет его?..

Но мы уже были у самого стола. И Витя уже перебивал начальника ровным заискивающим голосом. Первый раз я услышал, как говорит Витя заискивающим голосом. А он говорил одно и то же, одно и то же. Всего два слова. «Товарищ полковник! Товарищ полковник!»

— Ну что, товарищ Ласточкин! — смягчился полковник. Мы переглянулись: оказывается, он знает товарища Ласточкина.— Я же вам сто раз уже сказал: не имею права.— Развел руками и тяжело опустился в кресло. Потом посмотрел на нас и вроде обрадовался чему-то.— Вот еще знакомый,— сказал он и показал на Юдина.— Юдин, кажется?

Юдин уставился в пол и стал медленно краснеть. И вдруг военный человек, полковник, неожиданно для нас сказал:

— Господи! Ну что мне с вами делать? Садитесь.

И мы сели. Полковник совсем успокоился и сказал, что Ласточкину, поскольку он участник финской войны, подыщет военную работу. Что же касается Юдина, то пускай он не сетует. Белобилетник есть белобилетник. Он повторяет последний раз: ничего сделать не сможет. Остальные, то есть мы с Колей, будут вызваны, когда это понадобится.

— И не думайте, пожалуйста,— сказал он под конец,— что война кончится сегодня к вечеру. Хватит и на вашу долю. А теперь не мешайте работать. Будьте здоровы.

Когда мы вышли, Юдин угрюмо сказал:

— Все равно меня возьмут. Я же почти все вижу.— И он прикрыл ладонью таинственный левый глаз, на котором было небольшое мутноватое бельмо.

— Может быть,— грустно ответил Витя.— Все это придирки. Зачем придираться, когда идет война?

Через несколько дней Витю вызвали к военкому и дали боевое задание — руководить курсами медсестер. Витя скрепя сердце согласился. Он переехал под Москву, где были организованы эти курсы, и нас стало на одного меньше.

Мы продолжали ждать вызова. Юдину ждать было бесполезно, поэтому он действовал. Действовал, как всегда, молчаливо и скрытно. Ночью работал, днем метался

по каким-то местам. Однажды пришел возбужденный, радостный.

— Устроился,— говорит,— в отряд парашютистов.

Но радость оказалась преждевременной. Его опять забраковали. Но, видимо, не зря он считался среди нас самым умным и начитанным. В нашем классе, где мы спали на полу, появились таблицы, по которым медицинские комиссии проверяли зрение призывников. Где он их достал? Наверное, просто украл. Таблицы эти Юдин приколол к классной доске и начал тренировку. Отходил на определенное расстояние — он знал, на какое расстояние надо отходить,— и кто-нибудь из нас, чаще это делала Марьяна, показывал карандашом на какую-нибудь букву алфавита или фигурку. Юдин должен был назвать букву или фигурку. Сначала у него ничего не получалось. Потом он стал угадывать все чаще и чаще, пока не вызубрил наизусть все таблицы. Так удалось ему обмануть очередную комиссию, и он был зачислен в специальный отряд службы ВНОС — воздушное наблюдение, оповещение, связь.

Юдина обмундировали. В красноармейской форме — в гимнастерке не по росту, в пилотке, ботинках с черными обмотками — он был счастливым, молодцеватым и немного нелепым. Марьяна вертела его перед собой и все говорила:

— А правда, ребята, Юдин молодец? Вот пилотка только маловата. Ты обязательно, Толя, перемени. Слышишь?

Распрощались и с Юдиным. Он служил в своем ВНОСе где-то под Москвой, и Марьяна один раз уже ездила к нему.

Через неделю, в начале августа, получили повестки и мы — целая группа ребят, в том числе Коля, я и Лева Дрозд. Дрозд попал в артиллерийское училище, мы с Колей — в пехотное.

Но вместо училища мы получили назначение следовать до города Саранска, в какую-то запасную часть. Старшему группы вручили документы, и мы отправились на вокзал. До отхода поезда оставалось два часа, которые показались нам целой вечностью. Нас провожала Марьяна. Мы толкались на перроне, старались о чем-то разговаривать, но каждый, наверное, думал об одном: как сложится наша солдатская судьба? Ведь мы были уже солдатами, хотя еще и в своих гражданских пиджачках.

Один черненький такой крепышок подошел со своей девчонкой к старшему и попросил на полчаса отлучки.

— Мы сбегаем,— сказал ои,— распишемся, тут иедалеко.

И оии, взявшись за руки, побежали расписываться.

— Зря,— сказал я.

— Почему же зря? — вступилась за молодожеиов Марьяна.

— А вдруг что случится? Убьют, иапример. Будет вдовой.

— Зачем ты говоришь глупости?

— Но ведь могут же убить?

— Перестаиь. Нашел о чем говорить.

Я перестал и извиинлся перед Марьяной за этот глупый разговор. Но Коля иеожиданно продолжил.

— А я тоже бы расписался,— сказал он.— Поинмаешь? Одно дело сражаться вот так, а другое дело мужем. Когда у тебя за спиной родина и еще Наташка, жеиа твоя... Если удастся, обязательио распншусь.

— Ты прав,— сказал я и подумал: что же будет с иамн?

Первый раз в жизни мне так хотелось знать, что будет дальше, хотя бы за деиь вперед, или за два дня, или же за целый месяц вперед.

Молодожены прибежали буквальио перед самым отходом поезда. Даже ие успели попрощаться как следует. Они раскрасиелись и сияли от счастья. Только когда уже поезд тронулся и муж иачал махать кепкой, жеиа ие выдержала. Оиа пробежала иемножко вслед за вагоиом, потом остановнлась и заплакала. А Марьяна крикиула иам:

— Обязательио пишите, ребята!

Долго мы смотрели в окна, а потом стали устраиваться. Ребята подобрались веселые. Все время шутили, даже иад мужем немиожечко посмеялнсь, так просто, по-дружески, не обндно для него. И перезнакомились иезаметио, под шуточки...

Запели воеиные песии. А мие очеиь хотелось разговаривать, разговаривать с кем-иибудь, чтобы ие думать одиому черт зиает о чем.

— Сколько продержалась Парижская коммуиа? — спросил я Колю.

Я и сам ие зиал, почему задал этот дурацкий вопрос. Коля повериулся ко мие и посмотрел как иа иеиормального:

— Ты что?

— Нет, правда. Сколько продержалась Парижская коммуиа?

Тогда он ответил вторым голосом своим, но немного грубовато, рассерженно:

— Она и сейчас держится.

Мне не хотелось развивать глупый разговор, но в то же время я не мог удержаться, что-то подмывало меня.

— Коля! А что, если и нам срок отпущен какой-то? И будут потом вспоминать о нашей жизни как о светлом сне человечества. А?

Коля повернулся ко мне, и в глазах его шевельнулась тревога и отчуждение.

— Знаешь что? — сказал он.— Этого никогда не случится. Мы их все равно разобьем.

Я тоже думал, что мы разобьем их. Но меня просто подмывало заглянуть в бездну. Вот немцы займут всю страну, даже всю Сибирь — что тогда будет? Если кто останется из нас в живых, мы заставим себя умереть. Все умрем. Даже в моем дурацком воображении я не находил места для подневольной жизни.

— Ты не подумай, Коля,— сказал я.— Мы, конечно, разобьем их. Просто на минуту я интеллигентом сделался.

— Интеллигентом был Ленин,— ответил Коля. — Ты просто раскис. Давай лучше петь.

Мы пристроились к песне.

Эх, махорочка, махорка!
Подружились мы с тобо-о-ой...

Поздно вечером, когда улеглись спать,— наши полки были верхние, друг против друга,— мы с Колей тихонько спели на два голоса нашу любимую песню «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, горишь ты вся в огне». Между прочим, мы ее пели и тогда, в поезде, когда первый раз ехали в Москву из Прикумска, когда проводник прогнал нас с открытой площадки тамбура. Очень хорошая песня.

18

В Саранск поезд пришел на рассвете. Можно сказать, почти ночью. Потому что, когда мы пришли в красные трехэтажные казармы, чтобы переждать до утра, там, в коридорах, в табачном дыму еще стоял ночной сумрак. Переждать до утра было невозможно: одни только лестницы были свободны, а в коридорах — мы осмотрели все три этажа — вповалку лежали люди. Они лежали так тесно и в таком беспорядке, что негде было ступить даже одной

ногой. И сплошь одни мужики, огромное количество мужиков. Они были в диком рванье. Никто, наверное, уже лет сто не надевал на себя того, что было на них сейчас надето. Они шли на войну, знали, что получат обмундирование, поэтому оделись в такую рвань, какую можно было достать только с трудом. Все они спали мертвецки. Смотреть на них было жутко, потому что это же те солдаты, которые должны были в конце концов остановить врага.

Картина была до того угнетающая, что мы не стали даже пытаться найти себе место, поскорее выбрались на воздух. Бродили возле казармы сонные и погрустневшие. Потом пошли в город, который уже просыпался, и слонялись там до открытия комендатуры. Комендант объяснил нам, как пройти в лагерь, к месту нашего назначения. Все это время то и дело перед моими глазами как наяву вставали коридоры, заваленные спящими людьми.

Лагерь стоял в лесу, в нескольких километрах от города. Зеленые шалаши с плоскими крышами, между ними вытоптанная трава, уже хорошо пробитые тропинки. В глубине дымилась походная кухня, чуть в стороне от шалашей — брезентовая палатка для командования. Когда мы пришли, в лагере стояла тишина, редкие мелькали меж деревьев и шалашей дневальные, несколько человек у походной кухни чистили картошку. Нас внесли в список, то есть поставили на довольствие, и развели по шалашам, а после обеда у нас уже были свои отделения, взводы и роты, и мы с Колей в составе отделения ушли на занятия. Народ весь был гражданский, одетый кто во что горазд, но молодой, непохожий на тех, что мы видели в казарме.

На следующее утро мы получили оружие. Оружие, правда, не настоящее — деревянные палки с зеленой неочищенной корой и вместо ремней бельевая веревка. Но мы быстро освоили это оружие и лихо кололи им чучела, делали «на плечо», «к ноге» и другие несложные артикулы. Главное, мы были в строю. Нам понравилось на зорьке вставать по сигналу, выстраиваться по росной траве на утренний осмотр, а потом упругим строем идти на занятия, прижимая локтем суковатую подругу, с веревкой через плечо. Мы усердно печатали шаг и чувствовали себя настоящими воинами.

Каждый день у брезентовой палатки собирались какие-то группы, оформляли документы и уходили из лагеря. Сначала мы не обращали на это внимания, но скоро нам стали надоедать наши деревянные, ненастоящие винтовки,

кончились московские запасы, а в лагере кормили совсем плохо, не было питьевой воды, сводки по-прежнему были тревожными, и вообще все было не то. Мы стали приглядываться к палатке, томительно ждать своей очереди, когда и нас вызовут, чтобы отправить куда-то.

Может, потому, что мы жили в лесу, в глуши, война отсюда казалась бесконечно далекой. О ней напоминали только сводки да изредка забредавшие самолеты — то ли наши, то ли чужие, различать их мы еще не умели.

И оттого, что война казалась отсюда бесконечно далекой, но она все же была, тягостная нелепость нашего положения томила нас еще больше. Однажды, когда мы кололи своими палками истерзанные чучела из связанных прутьев, на полянке появился командир роты. Заметив его, отделенный подобрался весь и скомандовал:

— Отделение, стройся! Смирно! — И, сделав навстречу идущему несколько великолепных шагов, отрапортовал: — Товарищ старший лейтенант, отделение занимается штыковым боем.

— Вольно,— сказал небрежно старший лейтенант.

— Вольно! — отчеканил командир отделения.

Мы поломали строй и стали переглядываться между собой, делая всякие догадки. Каждую минуту мы ждали важных новостей. Поговорив с отделенным, старший лейтенант подошел к нам.

— Как держишь винтовку, товарищ боец? — сурово обратился ко мне командир.

Я держал свою палку на плече, как удочку. После этого замечания я снял ее и поставил перед собой вроде посоха. Командир снова сделал замечание, повысив голос. Тогда я приставил палку к ноге и стал по стойке «смирно». Он оглядел меня с головы до ног, добавил:

— Постричь волосы!

Я снял кепку, провел пятерней по волосам и ответил миролюбиво:

— Да ничего, товарищ старший лейтенант.

Командир укоризненно взглянул на отделенного, потом снова начал смотреть на меня сурово, выжидательно. Я понял наконец, чего от меня хочет командир, и повторил приказание:

— Есть, постричь волосы!

Он улыбнулся краешком губ и сказал:

— Вот это другое дело.— Потом взглянул на Колю: — Тоже постричь волосы.

— Есть, товарищ лейтенант! Разрешите исполнять?

Командир вместо ответа приказал отделенному:

— В воскресенье отправить на стрижку в город. Продолжайте занятия.

— Товарищ старший лейтенант,— спросил кто-то из ребят,— мы что, всю жизнь тут воевать будем?

— Может быть. Мне ничего не известно,— соврал старший лейтенант.

Я по глазам заметил, что он соврал. А может быть, и действительно ничего не знал. Он ушел и ничего особенного, чего мы ждали, не сказал. И мы продолжали колоть и сбивать «прикладом» свои чучела.

В воскресенье мы с Колей получили увольнительные и отправились в город. Было солнечно, небо стояло высокое, чистое. Между лесом и городом лежал холм. Нужно было перевалить через него, и там уже видны были городские дома. Настроение было бодрое. Душа неизвестно чему радовалась. И у Коли настроение хорошее. Мы шли беспечным шагом и вспоминали всех, кого не было с нами,— Юдина, Дрозда, Марьяну, Витю Ласточкина. Вспоминали Зиновия, но так, как будто он живой еще был. И отдельно про себя Коля думал о Наташке. Это я знал точно.

У нас не было денег на стрижку. Вообще ни на что не было. Поэтому мы сначала пошли на рынок, на толкучку. Наши надежды были связаны с моим почти совсем новым костюмом. Получилось все быстро и здорово. Сначала мы продали костюм прямо на мне, а потом у той же барахольщицы купили старенькие брюки. Барахольщица, ее соседка и Коля устроили заслон, и я быстро переоделся. Вырученных денег хватило не только на стрижку — бедные наши волосы падали на пол парикмахерской, а головы становились маленькими, как у подростков,— мы купили на рынке много разной еды и первый раз отвели душу, как только хотели. Даже выпили какой-то отравы. Стриженые, отправились бродить по улицам. И тут пережили вот что. Сначала просто услышали бодрую маршевую музыку, даже не поняли сразу, где этот оркестр. А когда вышли на площадь, увидели, как из другой улицы показалась голова колонны и впереди — сияя медными трубами, духовой оркестр. Музыка загремела в сто раз сильней, чем до этого. Колонна извивалась, огибая памятник Ленину, а конца ее не было видно, она все текла и накатывалась из глубины улицы. Р-раз! Р-раз! Р-раз! — печатала колонна слитый из тысячи шагов один гигантский шаг... А бойцы! Они бы-

ли в зеленых стальных касках. Через плечо ладно пригнаны серые скатки шинелей. За спиной винтовки щетинятся штыками. И р-раз! И р-раз! И вдруг я подумал, что это, может быть, те самые, из казармы, и чуть не заплакал.

Командир роты все-таки не зря приказал нам постричь волосы. На другой день некоторые отделения не пошли на занятия, а после обеда оставили в лагере и нас. Всех зачем-то еще раз переписали, перепроверили, а через день повзводно мы вышли из лагеря. Опять в дорогу.

Теперь мы ехали по-военному, в переполненных теплушках. Всю ночь ехали. Утром узнали — едем в Москву. И верно, вечером того же дня эшелон остановился в Москве, на какой-то товарной станции. Место было незнакомое. Из эшелона никого не пускали, хотя многие просились в город. И вдруг мы увидели телефонную будку напротив эшелона, за путями, у какого-то заборчика. Сбегать в будку разрешили. Мы разжились у ребят монетками и побежали, перепрыгивая через бесконечное количество путей.

Коля передохнул несколько раз, потом начал звонить. Сначала ничего не получалось: он раньше снимал трубку, а после бросал монету — так он волновался. Потом он сделал все как надо. Набрал номер и шепотом проговорил:

— Дома или нет?..— И вдруг — щелк! — и сразу голос в трубке. Даже мне было слышно, что это Наташкин голос.— Наташенька, здравствуй! — сказал Коля и весь натянулся, как струнка, и глаза его стали теплые и какие-то прислушивающиеся.— Это я, Коля... Почему не я? Честное слово, я.— Молчание. Коля забеспокоился, взглянул на меня мельком и опять: — Наташа, это же я говорю! Почему не мой голос? — Коля подсунул мне трубку.— Не верит, скажи, что это мы.

— Наташа, это мы, здравствуй! Я и Коля! Узнала?

И Наташка слабеньким голосом, как будто с того света, ответила:

— Да...

Снова заговорил Коля:

— Наташа, слышишь? Алло! Наташа! — Коля прислушался и тихо сказал: — Наташенька... Плачет... Ну скажи что-нибудь, сейчас эшелон уйдет... Плачет.

И тут действительно резко запела труба: по вагонам! Я открыл дверь будки, а Коля все говорил, все умолял не плакать, сказать что-нибудь, потому что он уже уезжает,

уезжает уже. Еще немножечко послушал молчавшую трубку, бережно повесил ее и выскочил из будки.

Эшелон тронулся. Мы сели на ходу, ребята втащили нас за руки.

Да, надо привыкать к быстрым переменам в жизни. Война. Вроде еще вчера мы были в Москве, потом — раз! — и уже где-то под Саранском, а теперь опять в Москве и в то же время не в Москве, куда-то уже несет нас эшелон. Были все вместе, а теперь все по разным местам. Только что Наташка в белой кофточке и в лыжных брюках при всех целовала Колю, и вот ее нет, и вдруг ее голос как будто с того света. Она где-то рядом, среди моря домов, в одном доме, а мы вот в теплушке — потряхивает немного, колеса постукивают... Да, надо к этому привыкать.

Остановились в Серпухове. Пока туда-сюда, стемнело. Начали выгружаться. За насыпью, уже в сплошной темноте, построились. И только тут командиры взводов объяснили все по-человечески. Оказалось, что весь наш путь от Москвы до Саранска, оттуда назад до Серпухова — это путь в училище, Подольское пехотное. Стоит оно в лесу, место называется лагерь Лужки. Вот и идем в эти Лужки под августовскими звездами. Ночь такая темная, что почти не видишь идущего впереди.

— Не растягиваться! Подтянуться! — перекликаются командами то спереди, то сзади, то справа, то слева невидимые командиры.

Кто-то споткнулся и выругался, кто-то налетел на замешкавшегося переднего, кто-то прыснул от смеха.

Куда-то идем и придем, видно, прямо в лагерь Лужки. Это хорошо, что в училище мы попали не сразу. Все-таки накопился опыт — строевая, штыковой бой, саранская лагерная жизнь. Не важно, что вместо винтовок — деревянные палки. А этот ночной марш! Вообще ходить строем ночью, да еще в незнакомых местах — это кое-что значит.

По звездам было видно, что идем полем.

Потом звезды, те, что висели над горизонтом, заслонились черной стеной, запахло по-иному, послышался шум листьев. Вошли в лес.

Шли долго. Уже стало казаться, что вообще никуда не идем, а так вот живем на ходу. А ночи и конца нет. Заволокла все на свете густо, насовсем.

Где-то в голове колонны слабо, как через стенку, раздалась команда, потом повторилась ближе и громче, еще

ближе. А когда я стукнулся лбом в затылок переднего, команда уже перекинулась назад, теряя силу, замирая где-то в хвосте.

— Приставить ногу! Остановись! Приставить ногу!

Колонна уперлась в часового. Это и был лагерь Лужки. Мы прошли внутрь. Конечно, все это условно, потому что и вне и внутри была ночь и ничего другого не было. Но мы уже видели лучше, чем вначале. Пригляделись. Справа от нас белели палатки. Спотыкаясь о натянутые веревки и колышки, расползлись по палаткам и сразу уснули. Может, кто и не сразу уснул — кого голод мучил, кого холод: ночи были уже студеные.

19

Труба деловито и молодо выпевала подъем. Для ее серебряного голоса нет преград. Брезентовые потолки, стены, изнутри проложенные фанерой, задраенные той же парусиной двери — ничто не мешает звучать ей будто над самым ухом. Труба пела, а мы вздрагивали, как боевые лошади, поднимались и спешили на ее зов.

Здесь, в Лужках, не то что под Саранском. Хотя кругом тоже лес, но даже и лес какой-то строгий, сосновый. Возле палаток дорожки подметены, широкий плац в центре лагеря, дорога — гладкая, будто асфальтовая — идет между соснами к столовой и в обратную сторону, к штабным помещениям, к воротам. То там, то здесь — вкопанные в землю бочки с водой, песок против зажигательных бомб, траншеи в сосняке — на случай воздушного налета. Во всем строгий порядок и культура. Тут уж вошь не заведется! В первое же утро на линейке была отдана команда проверить «на форму двадцать». Старшина прошел к правофланговому и на ходу приказал:

— Приготовиться!

Мы переглянулись и из-за военной своей неграмотности не знали, что надо делать.

— Кто не понимает,— крикнул старшина,— объясняю: проверка на вшивость. Вопросов нет? Снять рубашки и держать на руках в вывернутом виде.

Начал он с правофлангового. Пошарив в складках, скомандовал:

— Три шага вперед!

Потом подошел к другому, третьему. Из строя выходило больше, чем мы ожидали. Никто, конечно, не вино-

ват, но все же неудобно как-то и стыдно стоять перед строем со своей злополучной рубахой.

Потом направились к столовой. Командир взвода, не саранский, а новый, молодцевато шествовал сбоку и следил за нами, как перед парадом. То и дело выкрикивал: «подравняться», «шире шаг», «подтянуться, не разговаривать» и так далее и так далее. А когда замечаний придумать больше не мог, начинал считать:

— Р-раз, два, три... Левой, левой! Р-раз, два, три...— Когда надоело считать, скомандовал: — Запевай!

Передние молчали. Хвост тоже молчал. Мы уже чуяли носом кухню, и души и сердца наши были давно уже там, в столовке. Было не до песни. Тогда взводный остановил нас и заставил маршировать на месте. Мы дружно маршировали на месте, а взводный добродушно объяснял нам: пока не запоем, будем вот так маршировать и никогда до столовой не дойдем. Хочешь не хочешь, а петь надо. Взводный дал нам понять, что любая его команда для нас закон. Петь — значит петь. Не петь — значит не петь. Мы запели и двинулись вперед.

— Эх! — воскликнул я, когда взглянул на Колю, представшего передо мной на другой день полностью обмундированным.

Головки его кирзовых сапог блестели, начищенные, гимнастерочка туго перетянута ремнем, красные петлицы, и главное — фуражка с черным лакированным козырьком и ярко-красным околышем. Фуражка венчала все. Она лихо, чуть набок, сидела на Колиной голове и, перекликаясь с красными петлицами, делала Колю необратимо военным человеком.

Форма — великая вещь. Коля весь преобразился, движения его стали решительными и веселыми. Все он делал с какой-то внутренней радостью — вставал, поворачивался, ходил, отдавал честь командирам. Особенно эта честь! Он отдавал ее играючи, с веселым вызовом, щегольством и даже наслаждением. Может, в нем есть военная косточка?

Отделенный выделил из всех нас Колю. Сам он был человеком вялым, мешковатым, но, когда надо, работал как хорошо отлаженный механизм. Мог и скомандовать не хуже ротного, и выправку держать, и повороты, и все другое. Воинское рвение тоже умел оценить, потому и выделил из всех нас Колю.

Однажды отделенному не понравилось, как один из нас делал повороты. Он вызвал того курсанта из строя и приказал ему подать команду.

— Я покажу вам,— сказал он,— как надо поворачиваться.

— Кру-у...— начал курсант, и отделенный замер в ожидании исполнительной части команды, чтобы как следует показать поворот.— Кру-у... От-ставить!

Не ожидая такого коварства, отделенный сделал щегольской поворот. Отделение встретило это хохотом. Тогда наш сержант, выждав, пока отольет от лица кровь, скомандовал курсанту «шагом марш». Потом завернул его, еще завернул, пока не вывел на круг.

— Шире шаг! Прибавить шагу! Бегом!

Отделенный вывел курсанта на круг и чудновато-тихим голосом начал гонять провинившегося по кругу.

— Раз, два, три, четыре,— бесстрастно считал сержант.— Прибавить шагу! Хорошо.

Он гонял до тех пор, пока мы не начали тревожно переглядываться, а Коля вышел из строя и сказал сержанту:

— Остановите его, он сейчас упадет.

Отделенный сразу же приостановил свою месть. Напуганный, бледный курсант встал в строй. Почему сержант послушался Колю? Может быть, потому, что ценил его, а может, сам догадался, что затеял нехорошее. После этого случая ничего такого у нас с отделенным не было, но отношения наши с ним дальше служебных не продвинулись. А был он молодым парнем, чуть постарше нас, и ему, наверное, иногда очень хотелось потрепаться с нами во время перерывов. Но он сидел на траве рядом с нами, одиноко сидел и не вмешивался в наш разговор.

20

Вот уже несколько дней небо затягивало хмарью и заряжал хотя еще не холодный, но мелкий, назойливый дождь. В лагере участились тревоги. Где-то в стороне сотрясали воздух взрывы, и там же нервно перекликались зенитки. В такие часы мы отсиживались в непросыхавших траншеях.

Но и с ночными налетами мы вполне сжились в Лужках. Стреляли из винтовок и пулемета, если наш учебный пулемет системы Дегтярева был исправен; трижды на день с песнями «Эх, махорочка», «Катюша» и особенно «Бело-

руссня родиая, Украииа золотая, ваше счастье мо-олодо-ое мы стальнымн штыкамн защнтим...» маршнровали по дороге в столовую и обратно. Эта дорога была для иас наиболее желаииой из всех, какне былн на террнторни лагеря. Потому что, сказать честио, в любую минуту суток, даже после обеда, мы испытывали голод.

Неожидаино приехала Наташка. Коля ждал от нее письма. Но вместо этого она явилась сама. Как оиа могла разыскать иас по условному полевому адресу? Коля об этом ие спрашнвал ее, и правнльно делал. Наташка могла бы разыскать Колю, еслн бы нас отправилн в какой-иибудь даже ие существующнй на земле город. А тут все же лагерь Лужкн, совсем под рукой. Приехала она в воскресенье. Когда Коле передалн об этом дежурные, мы вместе с инм отправнлнсь в штаб, чтобы получить разрешенне иа выход из лагеря.

Попалн мы иа какого-то полковннка. Полковник так полковник — иашего большого иачальства мы ие знали.

— Разрешите, товарнщ полковник, обратнться! — Коля вытяиулся и отдал честь с блеском.

Полковннк не прншел от этого в восторг, он даже ие поспешнл с ответом. Ои сказал спокойио: «Не разрешаю», строго спросил прн этом, почему являемся не по форме.

Мы переглянулнсь и инчего ие понялн.

Тогда мы еще раз оглядели друг друга. И тут я заметил — я и раньше вндел, ио на эту мелочь никто не обращал вннмання,— у Коли не было иа левом кармашке гимнастеркн пуговицы. Оиа была там когда-то, но в этом кармаие Коля иосил пухлую запнсную кннжку. Пуговицу трудно было застегивать, оиа страшно оттягнвалась и иаконец отскочила совсем. Я молча показал иа этот злосчастный кармашек, и полковник тут же сказал:

— А вы как думаете? Можно щеголять без пуговнц, с иабитыми черт знает чем кармаиамн?

Между прочнм, этот непорядок с оттопыреиным кармаиом без пуговнцы ннсколько ие иарушал военной опрятностн и даже изящества в Колнном облнке. Однако полковинку лучше знать. Раз ои считает — непорядок, значит, так оно н есть.

Полковиик сиял с гвоздя свою фуражку, достал оттуда иголку с ниткой, в столе отыскал пуговицу и попросил Колю опорожиить кармаи. Коля с трудом выиул запнсиую книжку и вместе с огрызком караидаша положил на стол. Полковинк ловко и быстро пришнл Коле пуговицу. По-

женски перекусил нитку, застегнул кармашек и пригладил его для порядка.

— Попробуй, как оно?

Коля потрогал пуговицу и сказал, что пришита хорошо, большое спасибо.

— Не за что,— ответил полковник и только теперь разрешил обратиться по форме. Коля щелкнул каблуками, вскинул руку к лакированному козырьку и доложил о нашей просьбе. Полковник выписал пропуск.

— А для этого,— указал он на записную книжку,— найдите другое место.

Он взял книжку, повертел ее в руках, полистал. Затем задержался на одной страничке, прочитал вслух:

Провинившееся небо
Взяли молнии в кнуты...

Коля покраснел. Это были строчки еще не написанного стихотворения, и ему было неловко, что их читали вслух, вроде подглядывали в его душу. А полковник еще перевернул страничку и еще прочитал:

— «Пламя мысли, никогда не унижавшейся до бездействия».

Лицо у полковника было грубоватое, как у большинства военных, но Колины заметки его тронули как-то не по-военному. Он чуть задумался и, проговорив: «Хорошо сказано», спросил, о ком эти слова. Коля ответил:

— О Барбюсе.

— Хорошие слова,— повторил полковник и еще перевернул страничку.— «Советский человек не имеет права быть неучем, дураком и вообще плохим человеком. Потому что перед ним все время стоят Ленин и революция». А это чьи слова?

Коля не ответил.

— Значит, ничьи. Сам сказал...— Полковник задумался на минуту, потом закрыл книжку и подошел к Коле: — Вот что. Когда пуговица снова отлетит, пришейте ее немного повыше, легче будет застегивать.— И собственноручно водворил записную книжку на старое ее место, в кармашек гимнастерки.

Если ты простой курсант и тебе полковник пришивает пуговицу и сам водворяет записную книжку в левый кармашек гимнастерки, то этот полковник чего-нибудь стоит. Уж он-то, наверное, чувствует, что перед каждым из нас стоят Ленин и революция.

На минуту мы позабыли даже о Наташке. Зато потом со всех ног бросились к выходу. Небо высевало мелкую, невесомую морось. Воздух от нее был белесым, и сквозь эту морось на холме, поросшем соснами, мы увидели Наташку. Она стояла в обнимку с молодым медностволым деревом. Как только в одном из нас она узнала Колю, то сбросила с головы капюшон плаща и рванулась вниз. Не добежав до нас несколько шагов, остановилась, чтобы во все глаза разглядеть своего совсем нового Колю Терентьева. Глаза эти я запомнил на всю жизнь. Потом уже, после этих глаз, я всегда мог отличить без ошибки настоящую любовь от ненастоящей... Коля тоже остановился на минуту. И вот они бросились друг к другу и замерли, обнявшись, а я тихонько козырнул и прошел мимо, вверх по холму, в сосновую гущу. Но вскоре меня окликнула Наташка. Она отступила от Коли на шаг, посмотрела на него и сказала:

— Убили Толю Юдина. При бомбежке.— И печально опустила счастливые свои глаза.

Мы смотрели на песчаную землю, усыпанную прошлогодней хвоей и шишками. Долго смотрели на землю. И хотя шла война, я не мог себе представить убитым Толю Юдина, как не мог недавно представить мертвым Зиновия... Юдин... Его улыбка исподтишка, его постоянно сползающая прядь, его хитроватый таинственный глаз, его букинисты, его шуба, его письма от брата-музыканта, его — дохнул в ладошку: ах, температура?.. Как же это все? Неужели ничего этого никогда больше не будет?

Мы тихонько побрели вверх. Спросили о Марьяне. Наташка сказала, что Марьяна ушла служить к Толиным товарищам в отряд ВНОС.

21

В конце октября захолодало. После обеда, когда все разошлись по палаткам, над лагерем тревожно пропела труба. Боевая тревога. Курсанты бросились на плац, торопливо строясь, спрашивали друг у друга, у отделенных: «В чем дело, что случилось? Не подошли ли к лагерю немцы?» Оказалось, ничего серьезного. По приказу командования мы должны в составе всего училища совершить глубокий учебный марш-бросок. Пешим строем, затем поездом и снова пешим строем. За пять минут нужно было привести себя в полную боевую готовность, проверить ору-

жие, осмотреть палатки, чтобы ничего не осталось из личных вещей.

Лагерь, размокший от моросящих дождей, казался пустынным, заброшенным даже в эти минуты, когда плац был еще забит курсантами. Мы стояли в полном боевом снаряжении — с малыми лопатками в чехлах, ранцами за спиной, с оружием. У меня на плече — ручной пулемет, у Коли в руках — две коробки с пустыми дисками.

К голове колонны скорым шагом пронесся маленький, шустрый, в зеленой плащ-палатке и с автоматом ППШ через шею командир нашей четвертой роты. Раздался его пронзительный голос, и четвертая рота тронулась вслед за первой, второй, третьей, вслед за другими ротами других батальонов.

Мокрый, слезящийся от мелкого дождя лагерь остался позади. По обочинам дороги глянцевито мерцали еще зеленые травы. Вода скапливалась в листьях, потом проливалась, и травинки от этого зябко вздрагивали. А мы, в серых шинелях, вроде бы и ни о чем не думали, кроме как «левой, левой, левой». Дорога была песчаной, поэтому мы шли как по сухому,— левой, левой, левой...

До Серпухова дошли быстро, не так, как тогда, ночью. Но за дорогу нам с Колей не раз пришлось поменяться ношами. Носить пулемет и диски не такое уж удовольствие. В лагере кое-кто завидовал нам, теперь мы завидовали им. Горя они не знают со своими винтовочками за спиной.

Было совсем темно, когда мы погрузились в эшелон. Поехали. Марш-бросок? Хуже всего на войне, когда не знаешь, где ты будешь вскоре, что с тобой будет.

Остановились. Чуть видно маячили фонари в чьих-то руках. Высыпали на платформу. Говорят: Подольск. Кто-то куда-то уходил, возвращался, с кем-то перекликался. Потом к вагонам стали подносить пахнущие сосной деревянные ящики. Их открывали штыками, в ящиках были цинковые коробки. Патроны. Нам с Колей достался ящик. Цинковые штуки мы тоже вспороли штыком. Холодные, тяжелые, остроклювые патроны лежали плотно, один к одному. Много патронов. Мы уже не были детьми, но столько настоящих смертоносных патронов могли и взрослого заставить переживать. Даже на ощупь, в темноте, они производили впечатление. Вроде нехитрая штука — боевой патрон, а что-то такое в нем есть. Жизнь человеческая, что ли, смерть ли?..

С этим не вполне ясным настроением набивали мы свои подсумки и даже карманы шинелей холодными, оттягивающими ладонь патронами. Одну цинковую коробку захватили в теплушку, чтобы зарядить порожние диски. Между тем откуда-то появился слух: немцы прорвали оборону под Москвой. Но мы и без того уже понимали, что едем на фронт. От этого было не то что легче, а как-то спокойней, душа стала на место. В такие минуты каждому хочется знать только правду. Скажут правду — неважно, хорошая она или плохая,— и душа становится на место. Если ничего не знаешь или знаешь не то, что есть на самом деле, тогда все как-то не то, неладно.

Рассвет был мокрый, дождливый. Эшелон вынесло из ночных блужданий к Малоярославцу. Городок стоял нахохлившийся, молчаливый. Не задев его тревожной дремоты, наши колонны прошли мимо отсыревших деревянных домиков. Черная шоссейка со взбитой тысячами ног грязью уползала к далекому лесу, чуть проглядывавшему за мутной сеткой дождя. Низкое, тоже со взбитой грязью туч небо стекало на нас ленивым дождем. Порой дождь взбадривался и шумел по-летнему, потом снова выбивался из сил и безвольно лился на наши потемневшие колонны. Шинель набрякла, стала неудобной, терла задеревенелым воротником шею. Тысячи ног устало месили жидкую шоссейную грязь. Мир казался тесным, сдавленным и безнадежным. Но мы, колонна за колонной, ползем, пробиваемся куда-то вперед, куда-то вперед.

Коля идет в четверке передо мной. Плечи его оттянуты книзу, потому что в руках тяжелые коробки с дисками. Над грубым шинельным воротом, из которого торчит тонкая шея, лишь намокшая фуражечка напоминает мне о вчерашнем курсантском щегольстве.

— Коля! — окликаю я. Мне хочется взглянуть ему в лицо, чтобы поддержать себя, а может быть, и его.

Он с трудом поворачивает голову и через плечо устало подмигивает мне. Живы будем — не помрем! Перекладываю пулемет в парусиновом чехле на другое плечо, еще не успевшее отдохнуть, и шаг мой становится чуть построже, поувереннен. Как бы ниоткуда приходят свежие силы. Думалось, что их давно уже нет, волочишь ноги, как заводной, но вот переглянулся с человеком, и откуда-то явилась еще одна капля терпения и силы. Вскинешь голову, а там далеко, в мутном дожде, идет, наверное, наша первая рота. Устало колышутся головы, шаркает один нестрой-

ный тяжелый шаг. Но я уверен, колонна не только идет, она думает. «Что нужно сейчас Родине? — думаю я.— Чтобы мы шли и шли вперед, в серую мглу дождя. Шли день, другой, третий, сколько понадобится». И я иду, идет впереди Коля, идут мои товарищи.

По рядам передается команда «Примкнуть штыки». И вот над колонной вырастает частокол ножевых штыков. Распрямляются плечи, чуть выше головы. Мы идем, думаем. Покачивается холодный лес штыков. Дорогу обступил молодой осинник. За ним чернеют хмурые ели. Привал.

Что такое счастье? Теперь бы я еще подумал, прежде чем ответить. Но тогда я сказал бы, не думая: счастье — это когда ротный скомандует привал, а старшина выдаст по куску черного хлеба и по ложке сгущенного молока.

Вроде бы день, и уже нет. Вместо дня грязные сумерки. Мы сидим на мокрой листве, держим в руках черствый захолодевший хлеб со сгущенным молоком, потом начинаем с краев, чтобы не падали крошки, отламывать зубами солдатское лакомство. Хорошо после этого затянуться сладким дымком пайковой махорки. Свернув цигарку, Коля говорит:

— Кончится война, сразу же на всю стипендию куплю сгущенного молока. Сорок четыре банки... Двадцать две съем за один раз, остальное растяну до новой стипендии.

— Нет,— говорит другой курсант,— я не сгущенку, я куплю...

Ему не дают договорить. Скомандовали подъем и развели нас по осиннику рыть окопы. Корни в земле сплошь переплелись, их нужно рубить лопатой. Трудно рыть окопы в осиннике. И неизвестно зачем. Неужели это уже передовая? Мы работаем своими маленькими лопатками, стоя на коленях, работаем с ожесточением, пока наконец не раздается команда строиться. Построились и опять пошли. Ничего не поймешь.

Дождь незаметно перешел в снег, первый снег в этом году. Он тяжело закружился над нами.

Черным-черно. Черный лес наваливается на шоссе с двух сторон, черная дорога, черное небо, и даже белый снег кажется черным. Чуть коснувшись раскисшей дороги, снежные хлопья гибнут у нас под ногами. Никак не могут накрыть дорогу. Падают и гибнут. Перед глазами, которые ничего впереди не видят, кружатся эти хлопья, садятся на ресницы, стекают по лицу. Тьма шевелится от этого

кружения. Кружится голова. Но мы идем, идем в ночную глубину.

От четверки к четверке шепотом передаются первые новости: до передовой — восемьдесят километров. Потом приходит другое: не восемьдесят, а пятьдесят. Еще через час: враг прорвался и движется навстречу, он в двадцати километрах. И все же мы делаем привал. Падаем меж деревьев на мягкие холмики снега, который здесь, в лесу, уже успел прикрыть землю. Курить нельзя и не хочется... Потом снова идем через черную ночь навстречу врагу. О чем он думает, сволочь, в такую ночь?

Оказывается, когда человек смертельно устал, он может идти без конца, хоть всю жизнь. Только один раз мы остановились, смялись как-то, вспыхнула невидимая тревога. Впереди кто-то уснул на ходу или, споткнувшись, упал. И когда он падал, передний оглянулся и глазом напоролся на штык. Говорили об этом жутким шепотом. Приказали отомкнуть штыки. И колонна двинулась дальше.

22

Под клочковатым небом нехотя расступилось утро. Оно застало нас на опустевшей совхозной ферме, где уже хозяйничали штабные службы училища. Из трубы мазанки валил жирный дым, и над всей зажатой лесами фермой стоял пьянящий запах кухни.

Первые батальоны, прибывшие сюда раньше, были накормлены и отправлены на передовую. После обеда повзводно ушла и наша рота. Мы прошли по лесной дороге не больше трех километров, и наш первый взвод получил приказ рыть окопы и занимать оборону. Это была вторая линия обороны.

Мы рыли окопы и думали о своих товарищах, которые или уходили сейчас на первую линию, или уже находились там. Они казались гораздо старше нас, оставшихся здесь, даже старше самих себя, какими они были на самом деле. К ним вроде что-то прибавилось, важней и значительней чего уже не прибавляется к человеку за всю его жизнь...

Вот и окончилась наша дорога на войну. Она обрывалась перед этой поляной. Перед этими окопами, которые уже были вырыты и нелепо чернели среди зеленой еще травы, возле белых берез, уже исхлестанных дождями и ветром первой военной осени.

В глубине леса меж дремучих елей копился сумрак. А ближе к опушке, куда подступали березы, было светло даже в это серое и сырое утро.

Чуть высунув головы над свежими брустверами, стояли мы в своих окопах. Наконец-то пришли, вступили по самую грудь в землю, и прежняя текучесть мыслей стала искать точку опоры, обретать устойчивость. Вживайся в эту землю, здесь твой рубеж, твоя крепость, дом твой и родина. У каждого солдата, в каждом окопе.

В неглубоких ямках по лесной опушке — живые существа: в каждой ямке по человеку. Но в каждой ямке еще дом, еще крепость, еще родина. Нет, не просто выковырнуть из этих ямок маленьких человечков в синих курсантских фуражках... А как же те, что с первых дней все отходят и отходят назад, оставляя врагу за пядью пядь живую свою землю? Трудно тем отходить с тяжелой своей ношей — дом, крепость, родина...

В таком духе я развиваю перед Колей свои мысли. Вцепившись железными лапками в землю и вытянув черное рыльце над бруствером, стоит наш ручной пулемет. Мы с Колей, навалившись грудью на кромку просторного, на двоих, окопа, смотрим туда, куда смотрит черное рыльце нашего пулемета. Моросит дождь. Коля молчит, а я развиваю перед ним свои мысли. Мысли вроде и верные, но все же грустные. Почему? Потому что время сейчас по календарю природы называется месяцем прощания с родиной. Я не слышу, как курлычут журавли, покидая родину, улетая в чужие, дальние страны. Но знаю, что они летят сейчас, невидимые за моросливыми тучами.

На противоположной стороне поляны, куда нацелены стволы винтовок и рыльце нашего пулемета, кровью сочится рябина, а в мокрой траве одиноко достаивают свой срок последние ромашки. Еще ближе, за бруствером, лежит голубовато-фиолетовый, поваленный ненастьем, но еще чистый и еще живой колокольчик. Листья иван-чая потемнели, набрякли темной краснотой, на голых макушках одуванчиков дрожат налипшими косичками остатки когда-то веселого белоснежного пуха.

Тихо по-осеннему. Почти на самой середине поляны стоит старый клен. С его ветвистой кроны опадают подпаленные листья. Они падают медленно, высматривая себе место в траве. Чуть слышно посвистывает синичка.

Опадают листья, лежит в траве колокольчик, робко свистит синичка, моросит дождь, с черного рыльца пуле-

мета стекают на бруствер холодные капли. Осень. Вот почему я развиваю перед Колей хотя и верные, но все же грустные мысли. Конечно, это еще и потому, что уже несколько месяцев идет война, а наша армия, наши солдаты отступают, все еще отступают.

Взводный облазил окопы, проверил, хорошо ли уложен дери на брустверах, удобно ли чувствуют себя курсанты. Потом приказал проверить оружие. Неуместно и тревожно вспыхнули первые выстрелы. Над окопами поднялся пороховой дымок. Лейтенант, растолкав нас с Колей, приложился к пулемету. Дал очередь. Гулко отдалось в груди. Еще очередь, и еще отозвалось в груди. Постреляли и мы с Колей. На той стороне поляны пули срезали листья и ветки с деревьев. Как видно, оттуда должен появиться немец. После пристрелки оружия мы окончательно поверили, что он обязательно появится. Вглядывались в поредевшую лесную чащу и ждали. Но он не появился.

До самого вечера, а потом и всю ночь то слева, то справа, то где-то далеко впереди затевалась стрельба. На разные голоса — глуше, явственнее — постукивали пулеметы. Вмиг обрывалось все, а через минуту-другую все начиналось снова. Снова стучал и захлебывался пулемет и тяжко прослушивался далекий рокот артиллерии. Там-то был, наверное, настоящий бой.

Перед сумерками оттуда, где харкали орудия, — это мы сразу поняли, что оттуда,— пришел, пошатываясь, ворочая воспаленными белками, одиночка курсант. Он появился на поляне грязный, помятый, озирающийся. Испуганно повернулся на наш окрик и хрипло ответил:

— Свой!

Мы окружили его, он молча оглядел нас, и вдруг его прорвало. Он начал говорить, говорить, путаясь, без остановки, боялся, что не поверим.

— Всех поубивало, всех до одного,— говорил он заплетающимся языком,— весь батальон, один я остался. Один из всего батальона. Не верите?

— Типичная паника,— сказал кто-то из курсантов.

— Я — паника? Я? — жалко осклабился «свой».— Я вот один из всего батальона. Поняли? Там же ад. Не верите? Пошлют, узнаете...

Лейтенант несколько минут слушал молча, нахмурив брови. Потом оборвал этот страшный лепет.

— Где винтовка? — спросил он.

— Да я же говорю...

— Где винтовка?

— Какая винтовка? Я же один из всего батальона...

— Курсант...— Взводный оглядел всех и назвал фамилию одного из курсантов.— Сопроводить в штаб. Доложить начальнику штаба, что по моему приказанию доставили труса и паникера. Исполняйте!

— Есть, доставить труса и паникера,— угрюмо отозвался курсант, не отводя тяжелого взгляда от «своего». Потом так же угрюмо сказал:— Ну-ка, двигай, браток.— И взял винтовку наперевес.

Конечно, это был паникер. И трус. Это всем было ясно. Но мы смотрели на него и как на человека, который побывал там. На душе было тяжело и обидно. Пусть он с перепугу все преувеличил, наврал. Но истерзанный вид его говорил и о том, чего мы еще не знали и не могли представить себе. А он знал. Что-то там неладно, не так, как надо. И душа сама тянулась туда, ей не хотелось томиться неизвестностью.

— Что ты скажешь? — спросил я Колю, когда снова заняли свои окопы.

— Не бойся, я не побегу,— ответил Коля.

— Я совсем не об этом.

— А я об этом,— упрямо повторил Коля и в упор посмотрел на меня. Как бы продолжая разговор с самим собой, сказал: — Главное — стоять. Надо стоять потому, что мы отступаем, что отступать нам никак нельзя.

23

К ночи подул холодный ветер, разогнал тучи. С деревьев, что стояли у нас за спиной, срывал капли, разбрызгивал над окопами. Отвратительно холодные, они попадали за воротники шинелей и не давали согреться. На рассвете подморозило. Болели челюсти, потому что всю ночь нельзя было их разжать от холода. Когда принесли в котелках остывшие за дорогу макароны и к ним сухари, сухари трудно было разгрызть — так болели челюсти.

Всю ночь с нами провел отделенный, наш безбровый сержант. Его ячейка была рядом, и, когда стемнело, он перешел в наш окоп. Втроем все же не так холодно. Он долго рассказывал о своей жизни, не стесняясь нас, жаловался, как ему тяжело.

— На войне я тоже первый раз,— говорил он,— но

мне тяжелей. Вы ребята образованные. Образованным легче.

Он говорил, говорил, потом притулился к нам и уснул. Перед рассветом его разбудил взводный. Лейтенант кричал сверху:

— Сержант! Почему в чужом окопе? Почему спите?

Отделенный вскочил на колени и, приложив ладонь к виску, доложил:

— Я не спешу, товарищ лейтенант!

— Я спрашиваю, почему спите? — кричал лейтенант.

— Я не спешу... Я не спешу, товарищ лейтенант,— стоя на коленях по стойке «смирно», молол свое сержант.

— Тьфу ты черт! Одурел совсем. Да поднимись ты, голова!

— Слушаюсь, товарищ лейтенант.— А сам продолжал стоять на коленях с рукой у виска.

И жалко и смешно. Мы с Колей подняли обалделого спросонья сержанта и помогли ему выбраться из окопа.

Командиры ушли. Через несколько минут сержант вернулся и собрал отделение возле своего окопа, под березами. Он сказал, что скоро придут «катюши» и будут вести огонь с наших позиций. Мы должны соблюдать порядок — сидеть и не высовываться из окопов.

Неужели «катюши»? О них уже рассказывали легенды.

Да, по глухой, заросшей дороге подошли три машины. Обыкновенные грузовики, но с задранными над кабиной кузовами, вроде рельсов. Стали в рядок по опушке. Из кабин выскочили очень подтянутые и очень веселые люди.

— Привет юнкерам,— бросил кто-то из них в сторону окопов, откуда выглядывали курсантские головы.

Сначала один, за ним другой, потом все мы сбежались к машинам. Один из водителей бойко заговорил с нами. Вид у нас был понурый, смятый, лица серые от холода и бессонных ночей. Водитель толкнул в плечо одного, другого, подбадривая каждого соленой шуткой.

— Что это вы носы повесили? — говорил он.— А знаете, как немцы зовут вас? Не знаете? Подольские юнкера! Во как! Наложили им юнкера по самые некуда, чуть посмирней стали. Вот сейчас мы еще прибавим, гляди и пойдет дело...

Взводный какое-то время и сам прислушивался к разговору, но, вспомнив что-то, подобрался весь и скомандовал «по местам».

— Дай, начальник, поговорить,— сказал водитель,— не гони, успеешь.

Лейтенант пожал плечами, успокоился. Курсанты приставали к водителю с вопросами: что на фронте, где немец, верно ли, что «катюша» все сжигает начисто, и прочее и прочее.

Шоссе, по которому мы пришли сюда,— это прямая дорога на Варшаву. По ней и прет фашист к Москве. Перед нами стояли здесь московские ополченцы. Немец смял эти не очень хорошо подготовленные части и теперь идет на Малоярославец, чтобы оттуда ударить по Москве. Подольские курсанты, которых с первого дня немец окрестил подольскими юнкерами, стали у него на пути. Километров за пятнадцать отсюда уже вторые сутки сражаются наши первые батальоны.

Водитель рассказывал, шутил, подбадривал нас, и на душе у нас потеплело.

Раздалась команда «по местам». Мы рассыпались и затаились в своих окопах. Что-то зашипело, потом шипение перешло в гремучий треск, и нижняя часть рельсового полотна первой машины выбросила огненные хвосты. Затем огонь вырвался с верхней части вздыбленных рельсов, и оттуда начали срываться одна за другой длинные тяжелые чушки. Они были видны на лету, напоминая, как ни странно, стремительно летящих журавлей с вытянутыми вперед узкими головами. Чиркнули над деревьями и скрылись за лесом, в той стороне, куда смотрело черное рыльце нашего пулемета. По очереди отметавшись своими чушками, машины развернулись и быстро исчезли в глубине лесной дороги.

— Черт возьми! — возбужденно сказал Коля. Расстегнул зачем-то ремень, распахнул шинель и снова затянул ее ремнем.— Да, «катюши» — это вещь!

Взошло солнце. Лес заиграл осенними красками. Поодаль от окопов развели костерки. Сняли ранцы и по очереди стали греться, переобувать сапоги, сушить портянки.

Высоко в расчищенном утреннем небе проплыла «рама». Костры загасили. А через полчаса началась бомбежка. Первая фронтовая бомбежка. Сначала бомбы падали на ферме, где стоял наш штаб. Потом с изматывающим воем и визгом бомбардировщики стали заходить над поляной. Чуть не срезая острые макушки елей, они вспарывали воздух над окопами, роняя на лету черные туши бомб. Жирными фонтанами вскидывалась выше деревьев

земля, с хрустом падали обломанные березы и ели, воздух сочился сизым дымом, тошнотной вонью. В ушах стоял такой гром, будто все время катали огромные катки по железной крыше.

Отбомбившись, самолеты возвращались снова и поливали нас пулеметными очередями. Кто-то не выдержал, начал бухать по самолетам из винтовки.

— Прекратить огонь! — крикнул взводный, и в окопе замолчали.

Нет ничего обиднее и унизительнее, чем сидеть под открытым небом и ждать, когда свалится на твою голову бомба или прошьет тебя пулеметная очередь. Втянув головы в плечи и выворачивая шеи, мы жалко и беззащитно следили за разгулом бомбардировщиков, но после второго, третьего налета это стало невыносимым. Взводный запретил стрельбу, чтобы не демаскировать позицию, хотя ее нечего было демаскировать, с воздуха она вся была на виду.

Пробовали отойти в лес, в гущину, но и там не сиделось, не лежалось под бреющим визгом бомбардировщиков, под свистом падающего железа.

Солнце уже высоко стояло над лесом, а немец все еще бросал на нас через каждые полчаса свои самолеты.

Поляна была уже взрыта воронками, уже осточертела вся эта железная какофония. Мы сидели на дне окопа друг против друга. Коля озверело посмотрел на меня и первый раз в жизни ни с того ни с сего выругался матом. Значит — все, подумал я. Значит — мы уже солдаты. А он рванул с себя ранец, достал маленький томик Блока, заслонил голову шанцевой лопаткой и начал читать:

> Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.
> Попробуйте, сразитесь с нами!
> Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы,
> С раскосыми и жадными очами!

Он читал «Скифов», читал стихи о России, а самолеты тяжело выплевывали на нас горячий свинец. Коля почти незаметно втягивал голову, поправлял лопатку и все читал и читал.

И-н-и-и-и-и! Ах! — совсем рядом ахнула бомба, и с неба обрушилась на нас земля. Коля замолчал, потому что мы были придавлены землей ко дну окопа. Нас засыпало, как будто мы уже были готовы, уже мертвые. Но мы были живы, и, когда скинули с себя землю и поднялись, я сказал:

— Давай-ка свою поэму, о красном комиссаре.
— Что?
— О красном комиссаре.
— Какая там поэма! — сказал Коля, отплевываясь от скрипевшей на зубах земли.— Не видишь? Это же совсем не то.

Сразу я не сообразил. Все, что мы успели увидеть, все, что происходило сейчас, было совсем не похоже на Колину поэму. Там была очень складная и очень красивая гражданская война. Очень красиво и совсем не страшно умирал там красный комиссар. Его расстреливали белые, а он бесстрашно и гордо смотрел перед смертью в холодные глаза врагов. Очень красиво умирал комиссар за свободу и революцию.

— Да,— ответил я немного погодя,— война, наверно, совсем не такая. И умирают, наверно, не так. И на расстрел не водят. Теперь умирают в бою, даже не увидав врага в лицо.

— О красном комиссаре я напишу потом,— сказал Коля.— Кончим войну, и напишу.

— Да, мы еще увидим, как это все бывает.

Наконец эти сволочи улетели. Странно: никто из курсантов не был убит, никого даже не ранило. Значит, и на войне можно не сразу умереть. Сколько сброшено металла, сколько срублено, свалено деревьев, даже пулемет наш вывело из строя осколком, а человека, оказывается, убить очень трудно.

Вечером на наше место пришел другой взвод, а мы двинулись на первую линию. Заросшая дорога вывела снова на Варшавское шоссе. Шли молча, будто крадучись. Взводный говорил шепотом, шипел, когда надо было что-то приказать. Курить даже в рукав не разрешалось. Всей шкурой чувствовалась близость врага. Особенно когда вышли из леса.

Подошли к деревне. Чуть густели черные силуэты домиков. Посередине деревни шоссе обрывалось перед взорванным мостом через овражистую речушку. За ней, за этой речушкой, начинались вражеские позиции. Крадучись, мы свернули влево, поднялись наверх, перешли узкий мостик через глубокую канаву, тянувшуюся вдоль домиков, и остановились в разгороженном со всех сторон дворе. У самого спуска к речушке стоял полуразрушенный сарай, возле канавы, в противоположной стороне двора, чернел вспухшим холмиком погреб. Двор был про-

сторный, пустой, потому что дом — главиое в ием — был начнсто сожжен. В жутковатой тишине мы обошли двор и обнаружили свежие окопы. Взводный развел нас по окопам, и началось ночиое томительное окопиое сиденне.

Ни пулемета, разбитого при бомбежке, нн дисков с иами не было. Все это оставнлн сменившему нас взводу. Но по привычке мы поселнлись с Колей в одном окопе, расшнрнв его на двоих. Хотя карманы нашн были набиты патронами, а за поясом торчало по одной граиате РГД, мы чувствовалн себя безоружнымн. Взводиый сказал:

— Оружие достанем в бою.

Мы, правда, не зиалн, как это делается, ио мало ли чего не зиает человек в девятиадцать лет. Узнает, иаучнтся.

Впередн, куда уходила едва различимая в темноте леита шоссе, было тихо, недвижимо. Только далеко слева по овражистой речке вспыхнвали ракеты и час от часу сонио бормотал пулемет.

На рассвете, когда все замерло и мы стали подремывать в своих окопах, в воздухе вдруг заиыло, захлюпало, прошумело вихрем иад головамн и хрястиуло позадн нас, в соседием дворе. Миia! За ией вторая, третья. И пошло. Подиялся такой треск, что тишииы, казалось, инкогда и не было. Мины иногда проходили так иизко, что обдавали головы наши горячим воздухом. В первом напряженнн мы и ие заметили, как за спиной у иас взошло солнце. Черт их знает, откуда онн бьют! Как ни всматривалнсь, впередн нельзя было заметить ничего живого. Пустынное шоссе за взорваииым мостом подинмалось в гору н, врезаясь в лесиой масснв, упиралось прямо в иебо. Слева по оврагу тянулся густой кустариик, а дальше, за овражистой речкой, лысая боковииа в частых заплешииах березиячков тоже подступала к лесу. Двор иаш переходил в огород, за иим — открытое поле. Справа виизу лежало уличиое шоссе, упираясь в разбитый мост, а за противоположиым порядком домиков — кусты, редколесье и опять же лес. Вокруг ии души. А мниы, обгоняя друг друга, все летели и летели иа нас. Меснли соседиий и иаш двор, лопались иа огороде, на шоссе, оглушая, забрызгнвая нас землей. По одиому звуку, по клекоту мы уже угадывали, где она ляжет. Поэтому ие перед каждой втягивалн головы в плечи. И вдруг шелестящий звук точио сказал иам, что мина сейчас достигиет цели, упадет иа нас. Вмиг мы втяиули головы и воткнули их в коленп, и два скошеи-

ных глаза, мой и Колин, выжидающе взглянули друг на друга. Прошло полсекунды, и она тяжело шлепнулась где-то за нашими затылками. От задней стенки окопа отвалилась земля, сыпанула по спине. Глаза закрылись. Еще бесконечные полсекунды. Дыхание оборвалось. Сейчас хрястнет, и осколки жадно вопьются в наши головы, и войне конец. Еще полсекунды. Не поднимая головы, я вывернул шею, опасливо посмотрел назад.

— Коля!

— Ну?

— Взгляни!

Коля оглянулся. Вздохнул. Улыбка тронула усталое, исхудавшее его лицо.

Отвалив кусок глины, мина матово-черным боком смотрела на нас и не взрывалась.

Все стихло. Неужели это и есть война? То убивали нас и не могли убить с воздуха. Теперь хотели сделать то же самое черт знает откуда.

Вот они послали лоснящуюся матово-черную смерть. Возле нее еще осыпается мелкая крошка глины. Но где же они сами, рвущиеся к Москве по Варшавской дороге?

По двору вдоль окопов пробежал, играя желваками, взводный. Он заглядывал в каждый окоп и ошалело-радостным голосом спрашивал:

— Живы? — Потом крикнул: — Смотреть в оба! Сейчас пойдет пехота!

Пехота не пошла. По-прежнему пустынное, нелюдимое, тянулось к небу шоссе. Молчали кусты, молчали дальние перелески. Мрачно молчал дальний лес.

24

В этот день вражеская пехота так и не пошла. Но огневой налет они повторили несколько раз. Пользуясь передышками, мы вылезали из окопов поразмяться и вообще освоиться с тем клочком земли, на котором еще недавно мирно жили незнакомые нам люди и который мы должны удерживать теперь любой ценой.

После одной из таких вылазок Коля вернулся с винтовкой.

— Вот, — сказал он радостно, — пока одна на двоих.

Винтовку нашел он под мостком, в канаве. Была она старенькая, обласканная многими солдатскими руками, с тряпочным ремнем. Ствол ее был згбит грязью. Сержант

посоветовал прочнстнть выстрелом. Еслн не разорвет, значит, все в порядке.

— А еслн разорвет? — спроснл Коля.

— Давайте попробуем, — велнкодушно предложнл сержант.

— Думаете, страшио? Нет, — улыбнулся Коля. — Мы еще понадобнмся для чего-нибудь другого...

Он посмотрел по сторонам, что-то соображая. Потом повернулся к погребу н сказал про себя:

— Мы ее сейчас... сделаем.

Он зажал ее дверью, деринул за шнур, привязанный к спусковому крючку, н трехлнneечка, выстрелнв, чуть вскинулась и подалась назад. Коля торжествующе взглянул на нас н весело сказал:

— Зря боялись!

Сержант снисходнтельио улыбнулся. Трехлнneечка перешла на наше вооружение.

В полдень во дворе появнлся незнакомый лейтенант. Ои пришел с противоположной стороны улицы. Осмотрел нашу оборону, поговорнл со взводиым. Мы услышалн, как он сказал:

— Вот хорошо, значит — соседн.

Меня, как безоружиого, послалн с этнм лейтеиантом узнать расположенне соседей н получить обещанную лейтенантом винтовку. Мы спустилнсь вннз, пересеклн шоссе н подиялнсь на другую сторону. Там перед спуском к речушке был небольшой скверик с гнпсовым памятинком Ленину. Точно такой же Леиин стоял в нашем студенческом городке иа цветочиой клумбе. Напротнв сквера пусто глядел открытыми окиами и дверьми деревенский клуб. У входа выцветала афиша кннофильма под названнем «Любимая девушка». Мы прошли мимо клуба по тропннке, петлявшей по зарослям нвняка. Тропника прнвела нас в землянку. В мутиом свете коптилкн бойцы чннилн оружне: один разбирал станковый пулемет, другой рашпнлем выглаживал вырублеиную ложу виитовкн. Лейтенаит распорядился выдать мие оружие, н я тут же получил внтовку с такой же самодельиой, еще не окрашенной ложей. На ней не было ремня, но держать шершавую самоделку было очень удобно, лучше, чем полнроваииую.

Когда мы вышли, я спроснл:

— Это у вас мастерская?

— Так точно, — ответнл лейтенант, — это у нас походная мастерская.

Я спросил, есть ли дальше люди. Лейтенант объяснил, что и справа от них и слева от нас есть люди.

— А там, — он показал рукой за реку (отсюда тоже проглядывалось взбегавшее к небу шоссе), — там уже фашисты.

Он провел меня к бетонированному дзоту с пушкой-сорокапятимиллиметровкой, познакомил с расчетом.

— Здесь, если надо, найдете и меня, — сказал он на прощание. — Будем держаться вместе.

Линия обороны, до этого казавшаяся мне почти условной, вроде не существовавшей на деле, теперь представлялась вполне реальной, протянутой на многие километры вот такими же, как здесь, маленькими, но живыми и надежными крепостями.

Я возвращался к своим с другим настроением. Тропинка, по которой я шел, балуясь затвором новенькой самоделки, была уже не просто тропинкой, а неким рубежом, преградой для невидимого врага. Я шел по этому рубежу и даже насвистывал — душа становилась на место.

В нашем училище, там, в Лужках, был один курсант с курносой и смешливой физиономией. Он никогда не расставался с гитарой, висевшей у него на ремешке за спиной. В свободные минуты он собирал вокруг себя любителей и развлекал их своими бесконечными песенками. Одна из этих песенок, совсем незатейливая, не то чтобы понравилась мне, а как-то помимо желания врезалась в память. Даже в самую трудную и неподходящую минуту она то и дело всплывала в памяти и сама собой, без участия голоса и как бы даже без участия меня самого, пелась где-то внутри, одной памятью. Вот и сейчас она насвистывалась сама собой:

> Снова годовщина,
> А три бродяги сына
> Не сту-чат-ся у во-рот.
> Только ждут телеграммы,
> Как живут папа с мамой,
> Как они встречают Новый го-од...

Я шел, играя затвором.

> Налей же рюм-ку, Роза,
> Мне с моро-за,
> Ведь за сто-лом сегодня
> Ты-ы и я-а.
> И где еще найдешь ты
> В ми-ре, Роза,
> Таких ребят, как наши сы-новья?

Тропинка петляла, я поглядывал сквозь просветы ивняка на вражью сторону, в холодноватое небо, где за редкими тучками остывало солнце. Никакого мороза не было, не знал я и никакой Розы, а песенка пелась сама ни к селу ни к городу.

25

Сколько же можно прожить без сна? Эти сволочи и не думали, наверно, наступать. Но и оставлять нас в покое тоже не хотели. До вечера они сделали еще три артиллерийских налета. Еще три раза мы всем существом своим прислушивались к жуткому хлюпанью мин — будто они на лету заглатывали воздух. И только когда совсем стемнело, немцы утихомирились.

Сон навалился на нас вместе с темнотой. Взводный установил очередность на «отсыпку».

Небо было темное, беззвездное, когда подошла очередь отсыпаться нам с Колей. Мы сели на дно окопа, втянув головы в поднятые воротники шинелей. Но промозглый холод не давал насладиться сном. Рядом был погреб, и мы решили перебраться туда. На погребице собрали какую-то полуистлевшую рвань, постелили ее под бок, ранцы под голову, прикрыли дверь. Как убитые проспали целую вечность. Проснулся я, словно от удара, от глухой тишины. Растолкал Колю. В дверную щель еще сочилась ночь.

Нас удивила тишина. Когда мы открыли дверь и выглянули наружу, нас даже испугала эта тишина. Белая, белая тишина. На всем лежал снег. Белый жуткий снег. На нем не было ни одного следа. Бесшумно, медленно и вкрадчиво падали белые хлопья. Почему так бесшумно падает снег? Будто кто-то подкрадывался к нам на цыпочках, затаив дыхание. Я вздрогнул, оглянулся. Во всем этом было что-то неладное. С тревогой бросились мы к крайнему окопу. Отделенного там не было. Кинулись в другой — пусто. В третий — никого. Сердце начало колотиться. Оно уже знало: что-то случилось. А мысль еще не могла разгадать — что. Наступала растерянность. Мы разом обернулись к шоссе. Уф ты черт! Вот они где!

— Ребята! — крикнул Коля и первый бросился через двор, к мостку. — Ребята! — повторил он, когда мы уже перебежали мосток.

Но тут зашипела и свечой взвилась ракета. В ту же секунду глаз выхватил из тьмы черные лоснящиеся спины

и каски чужих солдат. Мы упали иа сиег, у самого спуска к шоссе. Пока ракета бесшумно соскальзывала с иеба, мы впивались глазамн в чериые регланы н черные каски, на которых мягко и страшно мерцали мертвые отсветы. Солдаты кралнсь вдоль шоссе.

Ракета погасла. Регланы н каски слнлись в одио чериое пятно иа тусклой белизне сиега. Пятно зашевелилось, стало вытягиваться в цепочку. Задвнгалось, загомонило отрывнстымн, сдавленнымн голосамн: «Аб!.. Фой!.. Ауф!..»

В этих сдавленных выкриках была какая-то машинная точность, отработаниая деловитость спевшейся банды.

Вот оии! Коля прнподнялся, завозился. Неужели хочет броснть граиату? Нельзя гранату! Нас же двое. Я не успел подползтн, чтобы остановить его. Он взмахнул рукой н припал к земле. Еще до взрыва там, вннзу, тревожио залопотали голоса. Потом коротким громом перекрыло все. Коля вскинулся и, пригибаясь, рванулся назад. На бегу дохнул горячим шепотом:

— За мной!

Сиачала я кинулся следом. Но что-то меня остановило. Я развериулся и стоя бросил свою граиату туда, вниз.

Перемахнув мосток, я метнулся в погреб. Колн там ие было. Выглянул во двор — пусто. Внизу, иа шоссе, лихорадочно залнвались очередямн автоматы. На той стороие, где был клуб, вспыхнул крайний домнк. Пламя быстро разгоралось. В его свете былн вндны мечущиеся по шоссейке черные солдаты. Вот онн перегруппнровалнсь, одии начали сползать к взорваиному мосту, другне повериули к нашему двору, стреляя нз автоматов. Красные отблески пожара заглядывали через прнотворенную дверь в погреб. Прнжимаясь к двериому косяку, боясь, что меия могут заметнть, я следил за чериыми фнгурами, которые карабкались вверх, к мостку, через канаву. Пересохло во рту, иудио дрожали коленн, и так же, как давно-давио, когда я услышал о начале войиы, хотелось опуститься иа колеии. Но я не мог этого сделать, потому что ие увижу тогда, как подойдут, чтобы убить меня, черные солдаты. Не отводя глаз от чериых солдат, которые становнлнсь все ближе и ближе, я захватывал с порога снежок н глотал его и ждал, сам ие зиая чего.

И когда первый нз ннх вступил иа узкий мосток, откуда-то, чуть лн ие нз-под земли, утробно заговорнл стаиковый пулемет. Этот первый иелепо вскннул рукн и свалился в каиаву. Сотии верст прошел ои по Варшавскому шоссе,

чтобы пробраться в этот двор, потом в погреб и прикончить меня. Но не дошел трех десятков шагов и свалился в канаву. А пулемет гулко и тяжело колотил из-под земли, и черные солдаты дрогнули, начали падать и скатываться назад. Что-то произошло со мной, и я вскинул шершавую самоделку и, почти не целясь, начал бухать вслед бегущим.

Пожар слабел. Отблески его уже не доставали меня. Но это, наверно, потому, что наступил рассвет. От собственной стрельбы я осмелел и вышел во двор поискать Колю. Побродил возле пустых окопов, решил заглянуть в полуразрушенный сарай. Брел по мягкому снежку и думал, что остался как есть один на войне. Я не сразу заметил, как старательно подавал мне разные знаки Коля. Он выглядывал из сарая и старался жестами, гримасами привлечь к себе внимание. Я влетел туда, стал обнимать Колю, вроде мы не виделись с ним сто лет. Я даже не удивился как следует тому, что кроме Коли там еще были люди и что сарай был только снаружи сараем, а внутри это был бетонированный дзот с такой же сорокапятимиллиметровой пушкой, как и у наших соседей.

— Нашелся, бродяга, — с грубоватой радостью сказал один артиллерист.

Всего их было пять человек вместе с командиром, которого они называли политруком. Политрук выделялся особой жестковатой собранностью. Видно было, что он знал, что ему делать и зачем он здесь находится. Я тоже знал, как и все остальные, зачем мы оказались здесь. Но о каждом из нас можно было сказать и многое другое. О нем только одно: он воевал. Во всем, что он делал — говорил, приказывал, смотрел своими светлыми, без улыбки, глазами, передвигался, — во всем этом я видел только войну. Человека, занятого войной. У меня он спросил одну лишь фамилию и повторил то, что, видимо, сказал уже Коле: по уставу мы обязаны подчиняться командиру подразделения, в котором застала нас обстановка.

С этой минуты я и Коля стали не то артиллеристами, не то пехотой при артиллерии.

— Задача такая, — сказал мне политрук, — бить врага. Это первое. И держать оборону. Это тоже первое.

Потом он отдал команду завтракать. Артиллеристы положили на снарядный ящик колбасу и хлеб. Ели стоя, по очереди наблюдая через амбразуру за местностью. У этого политрука ели так, словно выполняли важное боевое

задание. Первый раз на войне мне было хорошо и спокойно, потому что я уже беззаветно верил в этого политрука. Мне почему-то казалось, что здесь, на этом участке войны, будет так, как задумает этот политрук.

26

Мы сидели с Колей на артиллерийских ящиках, разговаривали, еще не остывшие от радости, что не потерялись этой ночью, что снова оказались вместе. Мы курили махорку, говорили, поглядывая на ребят-артиллеристов, на амбразуру, через которую открывалась та сторона с шоссейкой, упиравшейся в небо. А позади нас была Москва. Мы уже почти размечтались о Москве, обо всем, что там осталось дорогого, о наших дружках и знакомых и, конечно, о Наташке. И тут кто-то резко окликнул политрука. Потому что оттуда, где шоссе упиралось в небо, вывалилась черная легковичка и беззаботно, на полной скорости покатилась вниз. Она катилась так беззаботно и мирно, так весело и жутковато!

С этого и начался наш новый военный день. Наводчик попросил:

— Товарищ политрук! Разрешите один снаряд?

Политрук махнул рукой. Молодой смуглявый боец стал прицеливаться. Ствол пушечки чуть поклонился вверх-вниз и гаркнул огнем, оглушив нас и на минутку задернув амбразуру дымком. Черная легковичка будто стукнулась о невидимую стенку, взмахнула обвисшими дверцами, как подбитыми крыльями, и застыла на месте. Из нее почти разом вышвырнуло двух фашистов. Было видно, как они судорожно карабкались на четвереньках к придорожным кустам.

Прошла минута, другая, и уже стало казаться, что ничего не произошло, что черная легковичка с обвисшими дверцами всегда стояла перед взорванным мостом на белом от снега шоссе.

Чуть прикрытая снегом земля, рощицы и кусты, темные гребни дальнего леса немо ждали каких-то событий. Вернее, это мы, никому не видимые в своем бетонном дзоте, ждали этих событий.

Тишина была нестойкой и ложной. Вот по кромке шоссе между стенками леса метнулись темные фигурки. Потом еще. Потом две фигурки замешкались, остановились.

— Товарищ политрук, разрешите!— снова умоляющим шепотом попросил смуглявый наводчик.

Политрук промолчал. Все знали, что снаряды надо экономить. Но физиономия наводчика была просительно-жалобной, артиллеристы не выдержали и насели на политрука:

— Ведь стоят же, гады. Стоят, товарищ политрук.

Тогда политрук сам выбрал снаряд, повертел его в руках и нехотя передал заряжающему.

— Смотри, промахнешься — голову сниму.

— Ни в жисть! — весело ответил наводчик.

Рявкнула сорокапятка. И в том самом месте, между небом и землей, взметнулся и опал черный куст земли. Мы не успели как следует разглядеть, что сталось с фигурками, как там появились еще двое. Они торопливо стащили с дороги убитых.

Я никогда не видел живых снайперов, о которых рассказывал нам когда-то Витя Ласточкин. О снайперах-артиллеристах даже и не слыхал. Пока мы восхищались наводчиком, а ребята вспоминали разные подобные случаи, из-за той самой кромки вывернулись два танка. Давя молодой снег, они тяжело и быстро двигались вниз по шоссе, угрожающе выставив орудийные стволы и плюясь огнем из этих стволов.

— Бронебойные! — сухо скомандовал политрук.

Артиллеристы бросились к ящикам. Зарядив пушку, они держали в руках наготове снаряды. Томительно продвигались секунды. Танки были уже на полпути к мосту. Дрогнула, громыхнула пушка. Первый снаряд угодил в задний танк. Передний, разворачиваясь, подставил нашему снайперу бронированный бок. Еще ахнула пушка — и танк так и остался стоять, перегородив дорогу. Еще выстрел — и жирное пламя лизануло броню, стало разгораться. Из люка выскочили танкисты, повалил чадный дым.

Похоже, что бог войны, если верить в него, приступил к своему делу. Пока этот бог был на нашей стороне. Но где, в каком месте, каким будет его следующий шаг?

Опережая его замыслы, политрук приказал мне и Коле и еще двум артиллеристам занять оборону снаружи, слева и справа от сарая. В том месте, где чернела воронка, зачастили перебежки, и мы уже вели огонь по этим одиночным целям, когда появился политрук и приказал нам перенести огонь левее. За речушкой, в березнячке, он заметил скопление пехоты. Снова заговорила наша сорокапят-

ка. Снаряды стали ложиться там, где короткими перебежками скатывалась к речушке вражеская пехота.

Горячо зашелестел над головами воздух. Снаряды и мины снова начали перекапывать нашу землю. Огонь быстро нарастал. Бог войны бушевал во всю мощь.

Один снаряд рванул землю под самой амбразурой. Мы затаились в ожидании несчастья. Но пушка тут же ответила врагу. Значит, пронесло. И вдруг вражеская канонада смолкла.

— Сюда! — крикнул кто-то слева за сараем.

Мы бросились к траншее, выходившей из дзота, и прилегли за ее насыпью. Теперь наши лица были обращены в сторону огорода, нашего левого фланга.

Вот почему он оборвал свой артиалет! Они уже перешли речку! Выползая из лозняка, немцы вставали в рост и поднимались по склону, прижав к животам автоматы и поливая перед собой трескучими очередями. Я не успевал заряжать обоймы и загонял в свою самоделку одиночные патроны. Сначала стрелял не целясь, а они надвигались все ближе и ближе. Потом я стал выбирать себе цель и посылал в нее пулю. Но они снова шли, и с ними шел тот, что был моей мишенью. Я старался целиться спокойней, но моя мишень по-прежнему шла на меня. И тут я почувствовал озноб: они все шли вверх по склону, прямо на нас. Их пули уже посвистывали над нашими головами.

Политрук выкатил «максим» и устроился рядом. Он мельком взглянул на меня и, наверно, заметил мою растерянность.

— Трусишь?

— Винтовка не попадает, — пролепетал я в ответ.

Политрук покосился на мою самоделку и бросил зло, сдавленно:

— Рамку!

Черт возьми! Рамка стояла на дальнем прицеле. Рука у меня немного подрагивала, но я сумел все же перевести прицел на сто метров. Приладился. Выстрелил. И сразу меня бросило в жар. От радости. Ведь я же здорово стрелял в училище. Зеленая живая мишень споткнулась, стала на колени и пропала за неровностью склона. Застучало в висках. И тут память без всякого моего участия начала бешено выстукивать в такт пульсирующей крови эту дурацкую песенку: «Снова годовщина, а три бродяги сына не сту-чат-ся у во-рот». Я доставал из кармана по одному патрону, вгонял их затвором, целился, стрелял и весь дер-

гался от дурацкого ритма — «снова годовщина, снова годовщина, снова годовщина...». Я стрелял теперь не так часто, с выбором, даже успевал поглядывать, как расчетливо бил Коля, прикладываясь щекой к старенькой ложе, как выжидал чего-то политрук, припав к пулемету. «Не сту-чат-ся, не сту-чат-ся, не сту-чат-ся у во-рот... Налей же рюмку, Ро-за, рюмку, Ро-за...»

Из неровной, перекошенной и поломанной цепи то там, то здесь выпадали зеленые автоматчики. Потом что-то всколыхнуло их, цепь дрогнула, и, пригнувшись, немцы бросились вперед, преодолевая последние метры склона. Вот они уже бегут по чуть запорошенной снегом ботве. Захолодело, заныло что-то внутри. И тут густо и очень разборчиво заговорил пулемет политрука, и я сразу узнал голос ночного спасителя. Это он, как из-под земли, бил тогда по черным солдатам на шоссе.

Кровь застучала чаще. Куда-то далеко отодвинулось, но все еще стучало в моей и как будто не в моей голове: «И где найдешь, и где найдешь, и где еще найдешь ты в ми-ре, Ро-за...»

Немцы падали в ботву, взбивая снежную пыль.

Нет, не устояли, сволочи! Повернули, без памяти сыпанули вниз, к зарослям лозняка. «Максим» подстегивал их свинцовой плетью.

Сначала заорал Коля.

— А-а-а-а! — заорал он, приподнявшись на коленях.

Потом заорал я:

— А-а-а-а!

Политрук вытер рукавом шинели вспотевший лоб, на его железном лице я увидел первую улыбку.

— Все, — сказал он, — кончились патроны. — И потащил вдоль насыпи пулемет.

Из дзота выглядывала смуглявая физиономия наводчика. Он весело подмигивал нам и тоже улыбался.

27

В этот день политрук расстрелял одного артиллериста. И осталось нас шестеро.

Вторая атака была тяжелой. Но и она была отбита. Отбита гранатами. Когда немцы снова отошли за реку, в соседнем дворе появился грузовик. Шофер привез снаряды, патроны и противотанковые гранаты. Мы выгрузили все и перенесли в дзот. Проводили шофера и уже возвра-

щались к себе. Справа от нас, где стояли иаши соседи, где получил я свою самоделку, кипел бой. Политрук прислушался и сказал, не обращаясь ни к кому:

— Жарко.

Мы шли н, наверио, все понимали, что третья атака будет еще тяжелей. За иашей деревией, где-то у самого леса, в иашем тылу чуть видио взвились бледиые ракеты. Каждый из нас сделал вид, что ие заметил этих ракет. Но я был увереи, что каждый думал о иих, об этих непоиятных сигиалах. Одии из артиллеристов, полнощекий, еще не потерявший румяица, остаиовился и в спину всем, кто шел за политруком, сказал:

— Товарищ политрук, надо отходить. — Он сказал это с угнетениым спокойствием. Но все, и политрук тоже, огляиулись, как от удара. — Оии уже бросают ракеты вон где. — Артиллерист отчаяино протяиул руку в сторону нашего тыла. — Сам видал...

Политрук молча разглядывал этого человека и, видно, искал и не мог сразу найти нужиых слов. Артиллерист не выдержал взгляда. Лицо его перекосилось, и ои закричал:

— Что вы смотрите все? Не имеете права! Хотите подыхать, подыхайте! Я ие хочу подыхать!.. Не имеете права!..

Он кричал, оглядывался на машииу, потом побежал.

— Стой, гад! — политрук выхватил пистолет и поднял руку.

Тот оглянулся, иа минуту оцепенел, но в это время шофер завел машииу, и он побежал снова. Грузовик уже трогался, пареиь с ходу вцепился в задиий борт. Но тут хлопиул выстрел, и руки его отцепились. Он упал навзиичь. Политрук ие сразу вложил в кобуру пистолет. Рука его почти иезаметио дрожала.

Солнце уже висело над лесной хребтииой иа иемецкой стороие, когда иачался новый артиалет. А за иим — опять атака. Сегодия третья.

Теперь нх было больше, и онн шли, бежалн очередями. Первая очередь, сделав рывок, падала в сиег; за ней подиималась вторая, делала бросок и тоже падала в снег. Потом сиова подиималась первая. Они двигались на нас жутким слоеиым иакатом. Первая волна вырвалась вперед и уже бежала по взбитой ботве. Захлебываясь, клокотал пулемет политрука; слева от меия, прикладываясь к ложе,

бил Коля. Рассыпавшись по ботве, в длииополых шинелях, то падая, то вставая, оии рвались к нам. На этот раз оии решили во что бы то ии стало добиться своего. Я вижу, как вскинулся один для короткого броска, и я говорю Коле: «Мой!» — и бью по этому фашисту. Поднимается другой, и Коля бросает мие, не отрывая глаз от иемца: «Мой!» — и бьет по этому немцу.

Размеренными, ровиымн очередями ведет свою строчку «максим». И в этой размеренности я слышу, чувствую, вижу политрука, хотя и не смотрю на иего. Эта размерениость делает меня неуязвимым, мие не страшно, я не боюсь этих зеленых гадов.

— Мой! — бросаю я коротко.

Но он, живой, бросается вперед и сползает в крайиий окоп уже в нашем дворе. На мгиовение во мие шевельиулся холодок. Но ровная строчка политрука говорит мне: «Я здесь, спокойно».

Перезарядив самоделку, я жду. Мушка в прорези. Над мушкой — пустота. Потом медлеиио начииает вздуваться, подпирая мушку, черная каска. Я иажимаю спуск. Толчок в плечо, и в ту же секуиду я увидел его глаза. И сиова пустота. Пока я достаю из кармана патрон и вгоияю его затвором, иад пустотой поднимается чериый гриб, и чужой ствол ловит меия на мушку. Выстрел. Мимо! Мимо моей головы, прижатой к насыпи. Теперь мой черед. Выстрел. Чериый гриб уходит в землю.

За огородиой ботвой вскииулась новая волна. Хлыиула, заорала...

И тут в устоявшийся грохот боя с частой автоматиой дробью, с нервной ружейной перепалкой и тяжелой строчкой пулемета ворвалось что-то совсем новое, инородиое — орудийная пальба и сотрясающий воздух рев моторов. Коля, я, политрук и ребята-артиллеристы разом повериули головы к улице. По шоссе, ведя огонь, быстро шли танки. Им отвечали пушки с немецкой стороны.

— Наши! — крикнул политрук.

Немцы, тоже заметив танки, прекратили стрельбу, залегли. Наступило затишье. Танки остановились как бы в иедоумении перед взорваиным мостом, перед нашим двором. Мы сбежались к сараю, вглядываемся в ревущие машииы.

— Кресты иа броие, — сказал кто-то вполголоса.

Да. На всех таиках были желтые кресты. Но почему

они пришлн оттуда, с нашей стороны? Тогда полнтрук сказал:

— Это нашн, на трофейных машннах. Господн, конечно, нашн! На трофейных машинах.

В головном танке приподнялась крышка люка. Оттуда высунулся по грудь танкист. В черном кителе, на черном рукаве — белый череп со скрещенныммн костямн. Он спокойно озирается по сторонам. Он в пенсне — такне квадратные стекляшкн без оправы. Стекла без оправы н белый череп на рукаве будто выстрелнлн в меня н тут же скрылись в броне под желтым крестом. Фашнст!..

Тогда политрук сдержанно сказал:

— Собрать гранаты.

Мы кинулнсь в дзот, собралн гранаты и вынеслн нх наружу. Башня головного танка медленно разворачнвала на нас орудийный ствол. Вот он остановнлся, глянул черным жерлом. С громом вырвался нз жерла огонь, н угол крышн с треском взлетел н осыпался на землю.

— В траншею! — приказал полнтрук, и мы броснлнсь в траншею.

Вторым снарядом швырнуло на нас чуть лн не половнну крышн. В нескольких шагах от дзота траншея переходнла в крытый бревнамн блиндаж. Верх его был заложен дерном. Припорошенный снегом, он незаметно слнвался с двором. Задыхаясь от пыли, мы выбралнсь из-под обломков н соломенной трухн и проникли в этот блнндаж. Там было темно, как в могиле. Вход, по которому мы только что вбежалн, тут же завалило, а выход, оканчнвавшнйся лазом, кротовой норой, был заложен как бы случайно брошенным здесь выкорчеванным пнем. Над головой стоял треск, земля гудела и вздрагнвала, будто билн по ней стопудовым колуном.

Наконец все стнхло. Мы сиднм, прнвалясь к стенкам своей могнлы. В слепой темноте я слышу дыханне всех шестн, слышу, как дышнт рядом Коля. Сейчас онн что-то с намн сделают. Первый раз в жнзнн я не вижу перед собой ннкакого выхода. Голова работает бешено, но вхолостую. Мысль бьется в темном и тесном и замкнутом кругу. Она бросается туда н сюда, но везде натыкается на что-то н не может найтн выхода. А под этой беспомощно мечущейся мыслью жнвет как последняя надежда другая, спаснтельная: он, полнтрук, знает, что делать. Вот он подумает немного н скажет что-то, и все станет ясным. Еслн бы не было этой другой мыслн, я начал бы думать о кон-

це, о том, как жили мы, как хотели стать нужными людьми и как не успели стать такими людьми, потому что сейчас, через сколько-то минут, наступит конец. Но я не думал об этом, а только ждал тех самых слов, которые знал только он один, политрук. И вот он сказал эти слова. Но чуда не наступило. Все же политрук не был богом, он был обыкновенным человеком. Он сказал:

— Пусть думают, что мы погибли. Надо дождаться ночи. Ночью прорвемся.

По накату из бревен, по молодому снежку, по нашим головам уже ходят немцы, уже лопочут на своем языке. Я только подумал: ночью прорвемся — и тут же захрапел. Никогда раньше со мной этого не было, а тут захрапел. Кто-то схватил меня за грудки и, шипя матерщиной, встряхнул. Я выругал себя последними словами и захрапел снова. И снова трясет меня политрук и шипит матерщиной. Эта отвратительная сцена повторялась несколько раз. Повторялась до тех пор, пока в кротовый лаз не просочился вдруг голубоватый сноп света. Немцы заметили и открыли лаз. Потом свет потух — сверху навалились на эту дыру, — и кто-то бросил в нашу могилу резанувшее по сердцу слово:

— Рус!

Когда они лопотали там наверху — это одно. А когда они ударили нас этим словом — совсем другое, это так больно резануло по сердцу, что я содрогнулся. Больше я уже не храпел.

— Рус! — И мертвая тишина.

Потом они подтащили к лазу пулемет. И вслед за хищным клекотом по лазу заметалось сухое жало огня. Мы вдавливали себя в стенки, поджимая ноги, а красноватое жало лихорадочно зализывало темноту, стараясь достать нас. Невидимая свинцовая плеть делила надвое нашу могилу и тупо хлестала где-то рядом слепую мягкую землю. Они прострелялн блиндаж из пулемета и успокоились, убедившись, видно, что мы уничтожены.

Гомон стихал. Потом стал тускнеть и совсем погас сноп голубоватого света.

Пришла ночь. И наступил час, когда политрук шепотом сказал:

— Пора!

Он назначил место встречи: за деревней, в лесу. Установил порядок по номерам. Первым номером шел наводчик, за ним Коля, третьим был я, за мной двое артилле-

ристов, и последним, шестым номером — политрук. Но сначала он пополз сам. Мы затаили дыхание. Прошли долгие минуты. В лазу зашуршало. Политрук спустился в блиндаж и сказал:

— Все в порядке.

Он пожал руку первому номеру, и наводчик исчез в лазу. Потом так же молча политрук пожал руку Коле. Мы коротко и неудобно обнялись. Колина рука была сухой и горячей.

Он что-то долго возился в этой норе и потом сполз назад.

— Что случилось? — тревожно кинулся к нему политрук.

— Ранец не проходит.

— К черту ранец!

Коля полез без ранца.

Мне тоже пришлось бросить свой ранец. Я еще был в этой дыре, еще полз на животе, когда наверху вскинулась тревога, стрельба. Я выскочил и метнулся в сторону от шума. Пули вжикали над ухом, но они не могли попасть в меня — было темно. Я свалился за обломками дзота. В эту минуту один за другим ухнули три, а может, четыре утробных, сдавленных землей взрыва.

В соседнем дворе горели костры — там были немцы. Я скатился через мосток по склону в глубину улицы, на шоссе. Упал в кювет и только тут понял, что взрывы были в нашем блиндаже... Шестой номер. Политрук... Я лежал в кювете на снегу и плакал от бессилия. Потом пополз на животе, опираясь то на локоть, то на винтовку, зажатую в правой руке. Полз и путался в сорванных со столбов проводах. Наверху стреляли.

Обрывки мыслей, предметы, голоса, звуки мешались в пылавшей голове, ломались, вытесняли друг друга.

Я видел это случайно, почти мельком и никогда об этом не вспоминал. А сейчас неизвестно откуда всплыла эта глупая и ненужная сцена. Тихим переулком идет высокая нарядная женщина, за ней, откинув назад кудрявую головку, ревмя ревя, крутит педали трехколесного самоката маленький человечек. Женщина идет не оглядываясь, а человечек бешено сучит ножками, крутит и крутит свои педали. Он не хочет туда, куда идет жестокая мама, но, заливаясь слезами, крутит, как заводной, свои педали... Это в Москве. Потом в лагерной палатке поет Коля. Вхо-

дит взводный и слушает. Когда Коля умолк, взводный вскинул руку и сказал:

— Николо Терентини!

Коля угрюмо буркнул:

— Николай Терентьев, товарищ лейтенант.

— Прошу прощения, курсант Терентьев, — поправился взводный.

Потом встало передо мной железное лицо шестого номера. Я вижу его неулыбающиеся светлые глаза, и мне больно, что я не знаю ни имени его, ни фамилии... Разбитая легковичка, горящий танк, страшные танки с желтыми крестами. Их уже нет на шоссе, куда-то ушли...

Слезы высохли, я озираюсь на пустынную улицу и ползу по заснеженному кювету. Вот уже видны крайние домики. Подкрадывается рассвет. Поднимаюсь, бегу, чтобы затемно выскочить из деревни.

— Вер ист да! — Это от крайнего домика.

Падаю снова и жду. Тихо. Это показалось ему, немецкому патрулю.

Снова ползу, работая локтями и винтовкой.

Наконец я могу подняться, деревня позади. Передо мной белое снежное поле, за ним темный с проседью лес, место нашей встречи. Кто-то лежит у черной воды незамерзшего ручья. В зеленой плащ-палатке. Свой. Но я вскидываю винтовку.

— Кто?

— Свой, — стонет солдат.

Я поднимаю раненого. Он обхватывает меня за шею, и мы долго-долго идем через пустое белое поле к лесу. Падает снег, и нет с нами Коли. Может быть, над ним, уже остывшим, порошит сейчас этот снежок сорок первого года?..

— Где наши? — спрашиваю раненого.

— Не знаю...

28

...До той минуты так далеко, что кажется, ее и не было вовсе.

Земля зеленела травами и цвела цветами. Так же сбегало вниз Варшавское шоссе в той самой деревне. И так же за мостом оно поднималось в гору, упираясь в небо.

Шла эта дорога мимо сорок первого года куда-то на Юхнов, на другие города, до самой Варшавы. И весь

день, и всю ночь глухо и растяжно гудела она под колесами машин. Как и тогда, ивняком и молодой ольхой была скрыта от глаз овражистая речушка. Только деревня, с детворой и курами в зеленых двориках, была грустно-обыденной и с первого взгляда равнодушной к тому, что произошло здесь в ту позднюю осень, в ту раннюю зиму. Но это только казалось так с первого взгляда.

Мы должны были с Наташкой увидеть эти места, где истлели наши курсантские ранцы, где последний раз обнял я еще живого, без вести пропавшего Колю.

Напротив клуба, поющего и смеющегося по вечерам, на том месте, где стоял Ленин, из травы и полевых цветов поднимается фанерная пирамидка с вырезной звездочкой на шпиле. Здесь лежит неизвестный солдат.

Нет, не назову его этим великим и горьким именем — неизвестный солдат! Потому что лежит здесь Коля Терентьев. Я сразу узнал его в рассказах местных жителей.

Маленькие живые крепости, что держали фронт по берегу овражистой речушки, были обойдены и разгромлены врагом. Он прошел по Варшавскому шоссе к Малоярославцу и занял город. А эта вытянувшаяся вдоль шоссе деревня в один день стала его тылом. И до того, как немцы были выброшены отсюда, они успели навести взорванный мост и расстрелять Колю Терентьева.

В тот час они еще верили, что пришли сюда навсегда, и старались убедить в этом всех. Всех, кого нашли в погребах и землянках, они собрали у клуба. Сначала из пушки в упор расстреляли памятник. Старики, женщины, дети стояли тесно сбившейся толпой. Ничего не видевшими глазами смотрели они перед собой, но все видели и все слышали.

На серый камень, где минуту назад стоял Ленин, подняли по снарядным ящикам раненого курсанта, без шинели, в фуражке. Он был ранен в грудь, но был еще живой.

Солдаты вскинули ружья. Они ждали команды.

Офицер помедлил. Потом повернулся к толпе, кивнул на курсанта в фуражке с красным околышем:

— Комиссар!

Раненый тяжело поднял руку и не крикнул, а тихо и невнятно что-то сказал. Никто не расслышал, что сказал он, но толпа шевельнулась: «комиссар» остался стоять со вскинутой рукой.

Что он видел перед собой? Наверно, видел рядом с этой толпой Наташку, и, наверно, меня, и Толю Юдина,

и Леву Дрозда, и Зиновия Блюмберга, и Марьяну, и Витю Ласточкина, а может быть, видел Россию и нашего железного политрука... А люди видели поднятую руку до той минуты, до того звериного вопля — «Feuer!» (Огонь!), до того звериного залпа, когда Коля Терентьев упал к подножию камня и стал неизвестным солдатом.

Вечерами он слышит, как поют и смеются его одногодки, как переговаривается с донными камушками овражистая речушка, наш бывший рубеж, и как с утра и до утра натянутой струной гудит под шинами Варшавское шоссе. Ему только не слышно, как плачет по ночам Наташка — уже немолодая одинокая женщина.

Василий Петрович Росляков

ОДИН ИЗ НАС

Повесть

Редактор В. Серганова
Художник Ю. Космынин
Художественный редактор Г. Саленков
Технический редактор Г. Кулнкова
Корректоры Е. Кабикова, Е. Бондарева

ИБ № 4349
Сдано в набор 17.06.85. Подписано к печати 19.07.85. Формат 84x108 1/32. Гарнитура литер. Печать высокая. Бумага тип. № 2 кн.-журн. Усл. печ. л. 5,04. Усл. кр.-отт. 5,52. Уч.-изд. л. 5,32. Тираж 1 000 000 экз. Заказ 1580. Цена 35 коп.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Полиграфическое предприятие «Современник» Росполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
445043, Тольятти, Южное шоссе, 30

Алина

Нина

Дина

•Современник•